ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

ВОЙНА И МИР

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р1
Т53

Примечания
Л. Д. Опульской

Оформление художника
И. Жихарева

Т $\frac{0731-194}{028(01)-74}$ Подп. изд.

ВОЙНА И МИР

ТОМ ТРЕТИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти — миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.

Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.

Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: Monsieur, mon frère, je consens à rendre le duché au duc d'Oldenbourg [1],— и войны бы не было.

---

[1] Государь брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу.

Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове Св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes[1], а дипломатам того времени то, что все произошло оттого, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан memorandum за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас — потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими.

Для нас, потомков, — не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся собы-

---

[1] хорошие принципы.

тие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой, третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.

Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, — были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение.

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с бо́льшими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.

«Сердце царево в руце божьей».

Царь — есть раб истории.

История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей.

Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples [1] (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.

---

[1] проливать или не проливать кровь своих народов.

Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.

Когда созрело яблоко и падает, — отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?

Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, и так же не прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.

II

29-го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл три недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию-Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченною разлукой, которую она — эта Мария-Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, — казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его Monsieur mon frère[1] и искренно уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, — он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его.

Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10-го июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире, в имении польского графа.

На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и, с тем чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег.

Увидав на той стороне казаков (les Cosaques) и расстилавшиеся степи (les Steppes), в середине которых была Moscou la ville sainte[2], столица того, подобного Скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, — Наполеон, неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал

---

[1] Государь брат мой.
[2] Москва, священный город.

наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман.

12-го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки, кричали: «Vive l'Empereur!» [1] — и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса и, растрояясь, по трем мостам переходили на ту сторону.

— On fera du chemin cette fois-ci. Oh! quand il s'en mêle lui-même ça chauffe... Nom de Dieu... Le voilà!.. Vive l'Empereur! Les voilà donc les Steppes de l'Asie! Vilain pays tout de même. Au revoir, Beauché; je te réserve le plus beau palais de Moscou. Au revoir! Bonne chance... L'as tu vu, l'Empereur? Vive l'Empereur!.. preur! Si on me fait gouverneur aux Indes, Gérard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrêté. Vive l'Empereur! Vive! vive! vive! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l'Empereur! Le voilà! Le vois tu? Je l'ai vu deux fois comme je te vois. Le petit caporal... Je l'ai vu donner la croix à l'un des vieux... Vive l'Empereur!.. [2] — говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе.

13-го июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками

---

[1] Да здравствует император!

[2] Теперь походим! О! как он сам возьмется, дело закипит. Ей-богу... Вот он... Ура, император! Так вот они, азиатские степи... Однако скверная страна. До свиданья, Боше. Я тебе оставлю лучший дворец в Москве. До свиданья, желаю успеха. Видел императора? Ура! Ежели меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира... Ура! Император вот он! Видишь его? Я его два раза как тебя видел. Маленький капрал... Я видел, как он навесил крест одному из стариков... Ура, император!

этими выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастия, восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.

— Виват! — также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга, для того чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматриванье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.

— Что? Что он сказал? — слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним.

Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием.

Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «Виват!» — и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты

была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.

Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.

Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.

Ввечеру Наполеон между двумя распоряжениями — одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, — сделал третье распоряжение — о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (Légion d'honneur), которой Наполеон был главою.

Quos vult perdere — dementat[1].

III

Русский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из

---

[1] Кого хочет погубить — лишит разума *(лат.)*.

всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.

Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.

После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.

В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена — на бале, даваемом генерал-адъютантами.

Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.

Борис Друбецкой, en garçon (холостяком), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал-адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.

В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку

Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.

При начале мазурки Борис видел, что генерал-адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и непридворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно, поняв, что Балашев поступил так только потому, что на то были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая-то, очевидно, важная, новость не через него передана государю.)

Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними.

Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашев и каким бы образом узнать ее прежде других.

В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолоке и нагнул голову.

Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова:

— Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле, — сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова: он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их.

— Чтоб никто ничего не знал! — прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.

Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ.

Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывавшегося ожидания, и на бале! Государь, в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому понравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.

На другой день было написано следующее письмо к Наполеону.

«Monsieur mon frère. J'ai appris hier que malgré la loyauté avec laquelle j'ai maintenu mes engagements envers Votre Majesté, ses troupes ont franchis les frontières de la Russie, et je reçois à l'instant de Petérsbourg une note par laquelle le comte Lauriston, pour cause de cette agression, annonce que Votre Majesté s'est considérée comme en état de guerre avec moi dès le moment où le prince Kourakine a fait la demande de ses passeports. Les motifs sur lesquels le duc de Bassano fondait son refus de les lui délivrer, n'au-

raient jamais pu me faire supposer que cette démarche servirait jamais de prétexte à l'agression. En effet cet ambassadeur n'y a jamais été autorisé comme il l'a déclaré lui-même, et aussitôt que j'en fus informé je lui ai fait connaître combien je le désapprouvais en lui donnant l'ordre de rester à son poste. Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un malentendu de ce genre et qu'elle consente à retirer ses troupes du territoire russe, je regarderai ce qui s'est passé comme non avenu, et un accommodement entre nous sera possible. Dans le cas contraire, Votre Majesté, je me verrai forcé de repousser une attaque que rien n'a provoquée de ma part. Il dépend encore de Votre Majesté d'éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre.

Je suis, etc.

(signé) *Alexandre*»[1].

IV

13-го июня, в два часа ночи, государь, призвав к себе Балашева и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвезти это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашева, государь вновь

---

[1] «Государь брат мой! Вчера дошло до меня, что, несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства в отношении к Вашему Императорскому Величеству, войска Ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня, по поводу сего вторжения, что Ваше Величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною, с того времени как князь Куракин потребовал свои паспорты. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорты, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения и ежели Вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше Величество, еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны.

(подписал) *Александр*».

повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал *непременно* передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения; но он непременно приказал Балашеву передать их лично Наполеону.

Выехав в ночь с 13-го на 14-е июня, Балашев, сопутствуемый трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Рыконты, на французские аванпосты по сю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми.

Французский гусарский унтер-офицер, в малиновом мундире и мохнатой шапке, крикнул на подъезжавшего Балашева, приказывая ему остановиться. Балашев не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге.

Унтер-офицер, нахмурившись и проворчав какое-то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашева, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его: глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашев назвал себя. Унтер-офицер послал солдата к офицеру.

Не обращая на Балашева внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала.

Необычайно странно было Балашеву, после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное и главное — непочтительное отношение к себе грубой силы.

Солнце только начинало подниматься из-за туч; в воздухе было свежо и росисто. По дороге из деревни выгоняли стадо. В полях один за одним, как пузырьки в воде, вспырскивали с чувыканьем жаворонки.

Балашев оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки, и трубач, и французские гусары молча изредка глядели друг на друга.

Французский гусарский полковник, видимо, только что с постели, выехал из деревни на красивой сытой серой лошади, сопутствуемый двумя гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства.

Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний.

Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и, видимо, понимал все значение Балашева. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленну императору будет, вероятно, тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко.

Они проехали деревню Рыконты, мимо французских гусарских коновязей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашева и проводит его по назначению.

Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени.

Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными, завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами.

Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Le roi de Naples» [1]. Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что, когда накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам Неа-

[1] Король неаполитанский.

поля, несколько итальянцев прокричали ему: «Viva il re!» [1], он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain!» [2]

Но несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин сказал ему: «Je vous ai fait Roi pour régner à ma manière, mais pas à la vôtre» [3], — он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.

Увидав русского генерала, он по-королевски, торжественно, откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить.

— De Bal-macheve! — сказал король (своей решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику), — charmé de faire votre connaissance, général [4], — прибавил он с королевски-милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.

— Eh bien, général, tout est à la guerre, à ce qu'il paraît [5], — сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить.

— Sire, — отвечал Балашев. — l'Empereur mon maître ne désire point la guerre, et comme Votre Majesté le voit, — говорил Балашев, во всех падежах употребляя *Votre Majesté* [6], с неизбежной аффектацией учащения титула,

---

[1] Да здравствует король! *(итал.)*

[2] Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю!

[3] Я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему.

[4] очень приятно познакомиться с вами, генерал.

[5] Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне.

[6] Государь император русский не желает ее, как ваше величество изволите видеть... ваше величество.

обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость.

Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал monsieur de Balachoff. Но royauté oblige: [1] он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади и, взяв под руку Балашева и отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности теперь, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что... Мюрат перебил его:

— Так вы считаете зачинщиком не императора Александра? — сказал он неожиданно с добродушно-глупой улыбкой.

Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинателем войны был Наполеон.

— Eh, mon cher général, — опять перебил его Мюрат, — je désire de tout mon cœur que les Empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencée malgré moi se termine le plutôt possible [2], — сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми приятелями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом, как будто вдруг вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации, и, помахивая правой рукой, сказал: — Je ne vous retiens plus, général; je souhaite le succès de votre mission [3], — и, развеваясь красной шитой мантией и перьями и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его.

Балашев поехал дальше, по словам Мюрата предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону.

---

[1] королевское звание имеет свои обязанности.

[2] Ах, любезный генерал, я желаю от всей души, чтобы императоры покончили дело между собою и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее.

[3] Я вас не задерживаю более, генерал; желаю успеха вашему посольству.

Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения, как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.

V

Даву был Аракчеев императора Наполеона — Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.

В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этой необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра.

Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами (он поверял счеты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю», — говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся.

Заметив на лице Балашева произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно.

Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и назначение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.

— Где же ваш пакет? — сказал он. — Donnez-le moi, je l'enverrai à l'Empereur [1].

Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, — сказал Даву, — вы должны делать то, что вам говорят.

И как будто для того чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным.

Балашев вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два бочонка). Даву взял конверт и прочел надпись.

— Вы совершенно вправе оказывать или не оказывать мне уважение, — сказал Балашев. — Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества...

Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившиеся на лице Балашева, видимо, доставили ему удовольствие.

— Вам будет оказано должное, — сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая.

Через минуту вошел адъютант маршала господин де Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.

Балашев обедал в этот день с маршалом в том же сарае, на той же доске на бочках.

На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажами, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де Кастре.

---

[1] Дайте мне его, я пошлю императору.

После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала, с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашев привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад.

На другой день императорский камергер, monsieur de Turenne, приехал к Балашеву и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции.

Четыре дня тому назад у того дома, к которому подвезли Балашева, стояли Преображенского полка часовые, теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамелюка Рустана. Наполеон принимал Балашева в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр.

VI

Несмотря на привычку Балашева к придворной торжественности, роскошь и пышность двора императора Наполеона поразили его.

Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашев видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своей прогулкой.

После нескольких минут ожидания дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашеву, пригласил его идти за собой.

Балашев вошел в маленькую приемную, из которой была одна дверь в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашев простоял один минуты две, ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери, камергер, отворивший, почтительно остановился, ожидая, все затихло, и из кабинета зазвучали другие, твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем

мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волоса его, очевидно, только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. На моложавом полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия.

Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди. Кроме того, видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа.

Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить как человек, дорожащий всякой минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и чтó нужно сказать.

— Здравствуйте, генерал! — сказал он. — Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. — Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть вперед мимо него.

Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в *его* душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.

— Я не желаю и не желал войны, — сказал он, — но меня вынудили к ней. Я и *теперь* (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. — И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.

Судя по умеренно-спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.

— Sire! L'Empereur, mon maître[1], — начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены — оправьтесь», — как будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений.

— *Еще* нет, — вставил Наполеон и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.

Высказав все, что ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе, как с тем условием, чтобы... Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое-то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.

Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов; лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожанье икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.

— Я желаю мира не менее императора Александра, — начал он. — Не я ли осьмнадцать месяцев делаю все, чтобы получить его? Я осьмнадцать месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня? — сказал он, нахмурившись и делая энергически

[1] Ваше величество! Император, государь мой!

вопросительный жест своей маленькой белой и пухлой рукой.

— Отступления войск за Неман, государь, — сказал Балашев.

— За Неман? — повторил Наполеон. — Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман — только за Неман? — повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.

Балашев почтительно наклонил голову.

Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

— Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi [1], — говорил он впоследствии.

— Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, — совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. — Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии? — император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно — вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? — говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он

---

[1] Дрожание моей левой икры есть великий признак.

уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью.

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

— Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

— Мир заключен... — начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить самому, одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны balованные люди.

— Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, — продолжал он, — я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите. — Tout cela il l'aurait dû à mon amitié... Ah! quel beau règne, quel beau règne! — повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

— Quel beau règne *aurait pu* être celui de l'Empereur Alexandre! [1]

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его.

— Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. — сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. — Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? — продолжал он. — Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов. Штейн — прогнанный из своего отече-

[1] Всем этим он был бы обязан моей дружбе. О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование! О, какое прекрасное царствование *могло бы* быть царствование императора Александра!

ства изменник, Армфельд — развратник и интриган, Винцингероде — беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, — продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), — но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион — военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général[1],— сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

— Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет...

— Напротив, ваше величество, — сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, — войска горят желанием...

— Я все знаю, — перебил его Наполеон, — я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, — сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, — даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce côté de la Vistule[2]. Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись

[1] Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец.

[2] честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.

с вами. Шведы — их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого — Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. — Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что-то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

— Да что мне эти ваши союзники? — говорил Наполеон. — У меня союзники — это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

— Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, — сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. — Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, — сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее

к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: — Et cependant quel beau règne *aurait pu avoir* votre maître! [1]

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раз ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовой платок. Наполеон, не глядя на них, обратился к Балашеву.

— Уверьте от моего имени императора Александра, — сказал он, взяв шляпу, — что я ему предан по-прежнему: я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre à l'Empereur [2]. — И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.

VII

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов: «Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его — оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье.

---

[1] А между тем какое прекрасное царствование *мог бы иметь* ваш государь!

[2] Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.

Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что *он* делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

— Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [1] Сколько церквей в Moscou? — спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

— К чему такая бездна церквей?

— Русские очень набожны, — отвечал Балашев.

— Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, — сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

— У каждой страны свои нравы, — сказал он.

— Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, — сказал Наполеон.

— Прошу извинения у вашего величества, — сказал

---

[1] святая?

Балашев, — кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», — говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou [1], что есть много дорог и что в числе этих разных путей есть дорога на *Полтаву,* которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашеву.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

— Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? — сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так

---

[1] как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву.

как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

— Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, — с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. — Чего я не могу понять, — сказал он, — это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не... понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? — с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

— И пусть он знает, что я это сделаю, — сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. — Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских... да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

— И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

— Avoir l'oreille tirée par l'Empereur [1] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [2] — сказал он, как будто смешно

---

[1] Быть выдранным за ухо императором.

[2] Ну-с, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?

было быть в его присутствии чьим-нибудь courtisan и admirateur [1], кроме его, Наполеона.

— Готовы ли лошади для генерала? — прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

— Дайте ему моих, ему *далеко ехать*...

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

VIII

После своего свидания в Москве с Пьером князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми

[1] придворным и обожателем.

он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем бо́льшей жадностью, чем закрытее были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно-хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.

В 12-м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так

много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, — точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший за́мок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по-русски со слугами, но был все тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще бо́льшим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем за́мке. Но хотя по внешности все оставалось по-старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, — для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m-lle Bourienne и архитектор, к другому — княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.

Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это,

был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m-lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.

Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? — думал старый князь. — Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», — думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.

— Ежели вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), — я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее — я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, — продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, — то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.

Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.

— Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?

— Батюшка, я не хотел быть судьей, — сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, — но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... виновата эта француженка...

— А присудил!.. присудил! — сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: — Вон, вон! Чтоб духу твоего тут не было!..

Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m-lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день, перед отъездом, князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике-сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.

— Ну, рассказывай же, — говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колен и пошел из комнаты.

Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое-нибудь дело.

— Ты решительно едешь, André? — сказала ему сестра.

— Слава богу, что могу ехать, — сказал князь Андрей, — очень жалею, что ты не можешь.

— Зачем ты это говоришь! — сказала княжна Марья. — Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M-lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя... — Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.

— Ах, боже мой! Боже мой! — сказал он. — И как подумаешь, что и кто — какое ничтожество может быть

причиной несчастья людей! — сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.

Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m-lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.

— André, об одном я прошу, я умоляю тебя, — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. — Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие его. — Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. — Горе послано им, а не людьми. Люди — его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.

— Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, — сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то значит, давно мне надо было наказать», — подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.

Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

— Adieu, André! Rappelez-vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables [1], — были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.

«Так это должно быть! — думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. — Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может

---

[1] Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.

изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? — сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!» И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.

IX

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой — как говорили — они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.

Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощию своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить

себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.

Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1-я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2-я под начальством Багратиона, 3-я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал-квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель-адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев — бывший военный министр, граф Бенигсен — по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев — канцлер, Штейн — бывший прусский министр, Армфельд — шведский генерал, Пфуль — главный составитель плана кампании, генерал-адъютант Паулучи — сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое-то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутст-

вии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель-блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs[1] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, — главное — Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.

В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.

Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой

---

[1] был занят делом приема государя.

партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости — производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.

К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.

Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели

в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»

Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.

Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», — говорили люди этой партии.

Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все-таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все-таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, — говорили они, — тем лучше: по крайней мере, скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой-нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807-м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, — и таковой есть только один Бенигсен».

Седьмые — были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, — лица генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805-м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества

человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб-квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.

Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1-му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствие врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели — обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.

Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население

армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партия людей, занятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, девятая партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих мнений, отвлеченно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости.

Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенная, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует пятьдесят тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности; что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя.

В то самое время, как князь Андрей жил без дела при Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско.

Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества — то самое (насколько оно произведено

было личным присутствием государя в Москве) одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было представлено государю и принято им как предлог для оставления армии.

X

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея, для того чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенигсена в шесть часов вечера.

В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии, — известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем дрисские укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор chef-d'œuvr'ом тактики, долженствующим погубить Наполеона, — что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но Чернышев, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.

Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие-то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы

совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал-адъютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек — граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvrière [1] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.

Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805-м году; но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf... или: zu Grunde die ganze Geschichte... или: s'wird was gescheites d'raus werden... [2] Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что

[1] основою.
[2] глупости... к черту все дело... *(нем.)*

князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein» [1]. — И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает, как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука — теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

---

[1] «То-то, должно быть, правильно-тактическая была война» *(нем.)*.

В 1806-м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостной иронией говорил: «Ich sagte ja, daß die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird»[1]. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике; он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.

Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это.

Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

XI

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

— Quant à celui qui a conseillé ce camp, le camp de Drissa[2], — говорил Паулучи, в то время как государь,

---

[1] Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту *(нем.)*.

[2] Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь...

входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.

— Quant à celui, Sire, — продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, — qui a conseillé le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet[1]. — Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему:

— Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. — Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.

Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение) не объяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил по-

---

[1] Что же касается, государь, до того человека, который присоветовал лагерь при Дриссе, то для него, по моему мнению, есть только два места: желтый дом или виселица.

зволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой — совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля — план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Пфуль во время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

— Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schön! [1] Или отступление. Auch gut [2]. Что ж меня спрашивать? — сказал он. — Ведь вы сами знаете все лучше меня. — Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:

— Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне: как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною,— говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. — В чем затруднение? Вздор, Kinderspiel [3]. — Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что ежели теперь были затруднения,

---

[1] этого итальянского господина, очень хорошо! *(нем.)*
[2] Тоже хорошо *(нем.)*.
[3] детские игрушки *(нем.)*.

то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски его мысли и изредка говоря Пфулю: «Nicht wahr, Exellenz?» [1] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал на Вольцогена:

— Nun ja, wos soll denn da noch expliziert werden? [2] — Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски. Армфельд по-немецки обращался к Пфулю. Толь по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805-м году, — это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражений самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках

---

[1] Не правда ли, ваше превосходительство? *(нем.)*

[2] Ну да, что еще тут толковать? *(нем.)*

и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии оттого, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.

Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивлялся тому, что́ они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: «Мы отрезаны!» — и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет: «Ура!» — отряд в пять тысяч сто́ит тридцати тысяч, как под Шенграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы

подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, — глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, — сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, чтó он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они — власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!»

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его и все уже расходились.

На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.

XII

Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.

«Обожаемый друг души моей, — писал он. — Ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения

в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».

Действительно, только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать — как он обещал — и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять — двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам!» — думал он. Но теперь была кампания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов, по своему характеру, был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятною.

Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон.

Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади; и, главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны; и Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть.

Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда,

зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к Свенцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свенцяны памятны были гусарам только потому, что это был *пьяный лагерь,* как прозвала вся армия стоянку у Свенцян, и потому, что в Свенцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свенцяны потому, что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От Свенцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам.

13-го июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле.

12-го июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями.

Павлоградские два эскадрона стояли биваками, среди выбитого дотла скотом и лошадьми, уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка, с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову.

— Я, граф, из штаба. Слышали подвиг Раевского? — И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе.

Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, шестнадцатилетний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении

к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него.

Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Здржинского, не нравился и сам Здржинский, который, с своими усами от щек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, — думал Ростов, — остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту», — продолжал думать Ростов, слушая Здржинского. Но он не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего

оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал.

— Однако мо́чи нет, — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Здржинского. — И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче. — Ильин вышел, и Здржинский уехал.

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

— Ура! Ростов, идем скорее. Нашел! Вот тут шагов двести корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся, и Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами.

Ростов накинул плащ, кликнул за собой Лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями.

— Ростов, ты где?

— Здесь. Какова молния! — переговаривались они.

XIII

В покинутой корчме, перед которою стояла кибиточка доктора, уже было человек пять офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильиным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату.

— И! да у вас какое веселье, — смеясь, сказал Ростов.

— А вы что зеваете?

— Хороши! Так и течет с них! Гостиную нашу не замочите.

— Марьи Генриховны платье не запачкать, — отвечали голоса.

Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марьи Генриховны, могли

бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться; но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике, сидели три офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, сняли мокрое и надели сухое платье.

В разломанной печке разложили огонь. Достали доску и, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

— Оставьте его, — говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь, — он и так спит хорошо после бессонной ночи.

— Нельзя, Марья Генриховна, — отвечал офицер, — надо доктору прислужиться. Все, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

Стаканов было только три; вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или некрепок чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых с короткими, не совсем чистыми ногтями ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживанья за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей и учтивой молодежью, сияла счастьем, как ни старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа.

Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да ведь вы без сахара? — сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она, и все, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна, — сказал Ростов, — еще приятнее будет.

— Горячо! — сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

— Это моя чашка, — говорил он. — Только вложите пальчик, все выпью.

Когда самовар весь выпили, Ростов взял карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры, по предложению Ростова, было то, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

— Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин.

— Она и так королева! И приказания ее — закон.

Только что началась игра, как из-за Марьи Генриховны вдруг поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загораживали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене (которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него), что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат.

— Да я вестового пошлю... двух! — сказал Ростов. — Полноте, доктор.

— Я сам стану на часы! — сказал Ильин.

— Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал,— сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры.

Глядя на мрачное лицо доктора, косившегося на свою жену, офицерам стало еще веселей, и многие не могли удерживаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги. Когда доктор ушел, уведя свою жену, и поместился с нею в кибиточку, офицеры улеглись в корчме, укрывшись мокрыми шинелями; но долго не спали, то переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то выбегая на крыльцо и сообщая о том, что делалось в кибиточке. Несколько раз Ростов, завертываясь с головой, хотел заснуть; но опять чье-нибудь замечание развлекало его, опять начинался разговор, и опять раздавался беспричинный, веселый, детский хохот.

XIV

В третьем часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островне.

Все с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глянцевитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши и слышалось сонное дыхание.

— Право, она очень мила! — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним.

— Прелесть какая женщина! — с шестнадцатилетней серьезностью отвечал Ильин.

Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда: «Садись!» — солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал: «Марш!» — и, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепаньем копыт по мокрой дороге, бренчаньем сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за шедшей впереди пехотой и батареей.

Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли вбок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез.

Ростов в кампании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей опасности.

Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что, казалось, было бы интереснее всего другого, — о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко был смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего; он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился корнет, и знал, что ничто, кроме времени, не поможет ему.

Только что солнце показалось на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра; капли еще падали, но уже отвесно, — и все затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте и исчезло в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрывая ее края. Все засветилось и заблестело. И вместе с этим

светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием идти на рысях по дороге.

Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую-то пустую, без жителей, деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.

— Стой, равняйся! — послышалась впереди команда дивизионера.

— Левое плечо вперед, шагом марш! — скомандовали впереди.

И гусары по линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густой колонной — это были резервы; повыше ее на горе видны были на чистом-чистом воздухе, в утреннем, косом и ярком, освещении, на самом горизонте, наши пушки. Впереди за лощиной видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело и весело перещелкивающаяся с неприятелем.

Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. Трап-та-та-тап! — хлопали то вдруг, то быстро один за другим несколько выстрелов. Опять замолкло все, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто-то.

Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору.

Вслед за отъездом Остермана у улан послышалась команда:

— В колонну, к атаке стройся! — Пехота впереди их вздвоила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево.

Как только уланы сошли под гору, гусарам велено было подвинуться в гору, в прикрытие к батарее. В то время как гусары становились на место улан, из цепи

пролетели, визжа и свистя, далекие, непопадавшие пули.

Давно не слышанный этот звук еще радостнее и возбудительнее подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы, и всей душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы понеслись назад не к тому месту, где они стояли, но левее. Между оранжевыми уланами на рыжих лошадях и позади их, большой кучей, видны были синие французские драгуны на серых лошадях.

XV

Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидал этих синих французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными толпами уланы, и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями.

Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя. Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу.

— Андрей Севастьяныч, — сказал Ростов, — ведь мы их сомнем...

— Лихая бы штука, — сказал ротмистр, — а в самом деле...

Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась

вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтобы его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер — по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновенье лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.

В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «Je me rends!» [1] Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени

---

[1] Сдаюсь!

ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлезал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.

Граф Остерман-Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает? — спросил он себя, отъезжая от генерала. — Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет. Все не то! — Что-то другое мучило его, как раскаяние. — Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».

Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего-то совестно.

Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то все думал.

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, — и никак

не мог понять чего-то. «Так и они еще больше нашего боятся! — думал он. — Так только-то и есть всего, то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.

XVI

Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.

Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастию ее и к счастию родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла

приходить докторам (так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать) потому, что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому, что за то они получали деньги, и потому, что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное — мысль эта не могла прийти докторам потому, что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина — почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты) потому, что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой — заметной в ребенке в самой первобытной форме — потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли. И надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли *бобо,* уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и ежели порошки эти непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.

Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую, тающую Наташу, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи и что он не

пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу; ежели бы он не знал, что, ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора?

— Эдак никогда не выздоровеешь, — говорила она, за досадой забывая свое горе, — ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, — говорила графиня и, в произношении этого непонятного не для нее одной слова, она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, — и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства, и даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью.

Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что, хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но...

Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.

Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе дер-

жали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню.

Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.

XVII

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?» А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь

проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа бессознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность: ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что-нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград — отсутствие которой она чувствовала с Курагиным, — ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.

В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть

не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.

Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфены Ивановны, Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгий и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой божией матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик божией матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться богу, который в эти минуты — она чувствовала — управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия.

В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье

приобщиться или сообщиться, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.

Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей.

Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.

— Непременно продолжать — утром и вечером, — сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. — Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, — сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, — скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.

Графиня посмотрела на ногти и поплевала, с веселым лицом возвращаясь в гостиную.

XVIII

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11-го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11-го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.

В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях

толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней:

— Это Ростова, та самая...

— Как похудела, а все-таки хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, — тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, — и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, — думала она, — а так даром, ни для кого, проходят лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue [1] и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.

Благообразный, тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно

---

[1] манеру держаться.

действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью...» — думала она.

Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:

— «Миром господу помолимся».

«Миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться», — думала Наташа.

— «О свышнем мире и о спасении душ наших!»

«О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», — молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к богу. Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий синод и молится за него.

Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:

— «Сами себя и живот наш Христу-богу предадим».

«Сами себя богу предадим, — повторила в своей душе Наташа. — Боже мой, предаю себя твоей воле, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!» — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.

Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась богу о том, чтобы он помог ей.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

— «Господи боже сил, боже спасения нашего, — начал священник тем ясным ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. — Господи боже сил, боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззаконии собрашася, еже погубити достояние твое, разорити честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, господи, доколе грешницы восхвалятся? Доколе употребляти имать законопреступный власть?

Владыко господи! Услыши нас, молящихся тебе: укрепи силою твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; утверди всемогущною твоею десницею царство его и подаждь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гедеону на

Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его: положи лук медян мышцам, во имя твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящии нам злая, да будут пред лицем верного ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел твой сильный да будет оскорбляяй и погоняяй их; да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут под ногами рабов твоих и в попрание воем нашим да будут. Господи! не изнеможет у тебе спасати во многих и в малых; ты еси бог, да не превозможет противу тебе человек.

Боже отец наших! Помяни щедроты твоя и милости, яже от века суть: не отвержи нас от лица твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих презри беззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовию, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.

Господи боже наш, в него же веруем и на него же уповаем, не посрами нас от чаяния милости твоея и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящии нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да уведят все страны, яко имя тебе господь, и мы людие твои. Яви нам, господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила бога с той нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою,

надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила бога о том, чтобы он простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастия в жизни. И ей казалось, что бог слышит ее молитву.

XIX

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, — вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? — который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением *ее*. Слышал ли он и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался, как прежде; не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе:

«Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда не узнает этого», — думал он.

Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знаком-

ства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.

В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».

И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре — десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoléon [1], выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux [2], то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал

[1] император Наполеон.
[2] сорок два.

в ответ на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe?[1]. Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя — Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhof[2] и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ: L'Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besuhof — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию.

Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.

Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров.

— Ради бога, не можете ли вы меня облегчить? — сказал курьер, — у меня полна сумка писем к родителям.

В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Растопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою послед-

---

[1] Император Александр? Русский народ? — *Ред.*

[2] Русский Безухов.

нюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4-й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем чтобы самому привезти их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым.

Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом назавтра приезде государя — все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны.

Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, вовторых то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти *зверю,* глаголящему велика и хульна, определено предвечно и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно совершиться.

XX

У Ростовых, как и всегда по воскресеньям, обедал кое-кто из близких знакомых.

Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.

Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив,

ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину.

Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.

Первое лицо, которое он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела солфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.

— Я хочу попробовать опять петь, — сказала она. — Все-таки это занятие, — прибавила она, как будто извиняясь.

— И прекрасно.

— Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! — сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. — Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.

— Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, — прибавил он и хотел пройти в гостиную.

Наташа остановила его.

— Граф, что это, дурно, что я пою? — сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.

— Нет... Отчего же? Напротив... Но отчего вы меня спрашиваете?

— Я сама не знаю, — быстро отвечала Наташа, — но я ничего бы не хотела сделать, что бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали!.. — Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. — Я видела в том же приказе *он*, Болконский (быстро, шепотом проговорила она это слово), он в России и опять служит. Как вы думаете, — сказала она

быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, — простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?

— Я думаю... — сказал Пьер. — Ему нечего прощать... Ежели бы я был на его месте... — По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.

— Да вы — вы, — сказала она, с восторгом произнося это слово *вы,* — другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что... — Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.

В это же время из гостиной выбежал Петя.

Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.

Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.

Он просил его узнать, примут ли его в гусары.

Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.

Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

— Ну что мое дело, Петр Кирилыч. Ради бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

— Ах да, твое дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу все.

— Ну что, mon cher, ну что, достали манифест? — спросил старый граф. — А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.

— Достал, — отвечал Пьер. — Завтра государь будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.

— Да, да, слава богу. Ну, а из армии что?

— Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, — отвечал Пьер.

— Боже мой, боже мой! — сказал граф. — Где же манифест?

— Воззвание! Ах, да! — Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.

— Ей-богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он.

— Ну уж, вечно растеряет все, — сказала графиня.

Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.

— Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно...

— Ну, к обеду опоздаете.

— Ах, и кучер уехал.

Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.

— Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.

За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— А слышали? — сказал Шиншин. — Князь Голицын русского учителя взял, по-русски учится — il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues [1].

— Ну, что ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье-то собирать будут, и вам придется на коня? — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.

---

[1] становится опасным говорить по-французски на улицах.

Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.

— Да, да, на войну, — сказал он, — нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.

После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.

— «Первопрестольной столице нашей Москве.

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», — старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.

Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.

Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.

Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

— Вот это так! — вскрикнул, граф открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной

солью. — Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.

Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.

— Что за прелесть, этот папа! — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.

— Вот так патриотка! — сказал Шиншин.

— Совсем не патриотка, а просто... — обиженно отвечала Наташа. — Вам все смешно, а это совсем не шутка...

— Какие шутки! — повторил граф. — Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...

— А заметили вы, — сказал Пьер, — что сказано: «для совещания».

— Ну уж там для чего бы ни было...

В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите, — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и всё...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.

— Вот и договорился! — сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

— Ну, ну, — сказал он. — Вот воин еще! Глупости-то оставь: учиться надо.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости...

— Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

— Петя, я тебе говорю, замолчи, — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет...

— Я тебе говорю — вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, — и граф,

взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить...

Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно-блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.

— Нет, я, кажется, домой поеду...

— Как домой, да вы вечер у нас хотели... И то редко стали бывать. А эта моя... — сказал добродушно граф, указывая на Наташу, — только при вас и весела...

— Да, я забыл... Мне непременно надо домой... Дела... — поспешно сказал Пьер.

— Ну так до свидания, — сказал граф, совсем уходя из комнаты.

— Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. — спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.

«Оттого, что я тебя люблю!» — хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.

— Оттого, что мне лучше реже бывать у вас... Оттого... нет, просто у меня дела.

— Отчего? нет, скажите, — решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.

Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

XXI

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.

На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя

решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов... Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь — все стоят. Что ж лезть-то!

— Так и все полезут, — сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.

Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.

Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что

это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.

Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!» Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.

На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.

— Отец, ангел, батюшка! — приговаривала она, отирая пальцем слезы.

— Ура! — кричали со всех сторон.

С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.

Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».

«Так вот что такое государь! — думал Петя. — Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!» Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из-за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое-то духовное лицо, с пучком седевших волос назади, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.

— Барчонка задавили! — говорил дьячок. — Что ж так!.. легче... задавили, задавили!

Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к царь-пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого-то, — тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, — говорили голоса.

Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его — и то он бы считал себя счастливым!

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками — толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово *соборне,* которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.

Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной — смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже

не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! ура!» — опять закричала толпа.

— Который? Который? — плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему; все были слишком увлечены, и Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из-за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на него весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал «ура!» неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему ни стоило, он будет военным.

Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом; но он не уходил домой и вместе с уменьшившейся, но еще довольно большой толпой стоял перед дворцом, во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах.

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидать ваше величество.

Обед уже кончился, государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.

— Ангел, отец! Ура, батюшка!.. — кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя

коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура!», уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать — так и вышло, — с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.

XXII

15-го числа утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. По зале Дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола, под портретом государя, сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи; но большинство дворян ходило по зале.

Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском, и этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большей частью сидели на местах и молчали, и ежели ходили и говорили, то пристроивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности: общего ожидания чего-то торжественного и обыкновенного, вчерашнего — бостонной партии,

Петрушки-повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и т. п.

Пьер, с раннего утра стянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества — сословий, états généraux — вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о Contrat social[1] и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для *совещания* с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям в то время, как войдет государь, когда дать бал государю, разделиться ли по уездам или всей губернией... и т. д.; но как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.

Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском, воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между толпой, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своей доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело; это видно было по выражению лиц, его слушавших, и по тому, что известные Пьеру за самых покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грассированием и сокращением согласных,

[1] Общественный договор. — *Ред.*

тем голосом, которым покрикивают: «Чеаек, трубку!», и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

— Что ж, что смоляне предложили ополченцев госуаю. Разве нам смоляне указ? Ежели буародное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю императору другими средствами. Разве мы забыли ополченье в седьмом году! Только что нажились кутейники да воры-грабители...

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой! только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор... а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так выговаривал государь), мы все умрем за него, — прибавил оратор одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить. Он выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно:

— Я полагаю, милостивый государь, — шамкая беззубым ртом, сказал сенатор, — что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь император. А судить о том, что удобнее — набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...

Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня, ваше превосходительство, — начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), — хотя я не согласен с господином... (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать mon très honorable préopinant[1]), — с господином... que je n'ai pas l'honneur de connaître;[2] но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, — говорил он, воодушевляясь, — что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и... chair à canon[3], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета.

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнею слышал.

— Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, — продолжал Пьер, — мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армия, и тогда...

Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:

— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают...

Другой голос человека, среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже

---

[1] мой многоуважаемый оппонент. — *Ред.*

[2] которого я не имею чести знать.

[3] мясо для пушек.

измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Апраксина.

— Да и не время рассуждать, — говорил голос этого дворянина, — а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтоб погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увезти жен, детей. — Дворянин ударил себя в грудь. — Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. — Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, — кричал дворянин.

Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.

Илья Андреич одобривал сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, — ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, — но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.

Издатель *Русского вестника* Глинка, которого узнали («писатель, писатель!» — послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах.

Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи-старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение бо́льшей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, — стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.

Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! — кричал один.

— Он враг человечества! — кричал другой. — Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

XXIII

В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.

— Государь император сейчас будет, — сказал Растопчин, — я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, — сказал граф Растопчин. — Оттуда польются миллионы (он

указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Это меньшее, что мы можем сделать!

Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.

Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь! Государь! — вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.

По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только, по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.

— Господа! — сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услыхал столь приятно-человеческий и тронутый голос государя, который говорил: — Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него, и со всех сторон слышались восторженные восклицания.

— Да, всего дороже... царское слово, — рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но все понимавшего по-своему.

Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил, сопутствуемый двумя

купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:

— И жизнь и имущество возьми, ваше величество!

Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает тысячу человек и их содержание.

Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они наделали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай де Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю. И так точно, вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей, действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии.

Теперь деятели 1812-го года давно сошли с своих мест, их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами.

Но допустим, что *должны* были люди Европы, под предводительством Наполеона, зайти в глубь России и там погибнуть, и вся противуречащая сама себе, бессмысленная, жестокая деятельность людей — участников этой войны, становится для нас понятною.

Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния.

Теперь нам ясно, что было в 1812-м году причиной погибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной погибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того (что теперь кажется очевидным), что только этим путем могла погибнуть восьмисоттысячная, лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами — русской армией; не только *никто не предвидел этого,* но все усилия *со стороны русских* были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и *со стороны французов,* несмотря на опытность и так называемый военный гений Наполеона, были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, то есть сделать то самое, что должно было погубить их.

В исторических сочинениях о 1812-м годе авторы французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании; а авторы русские еще более любят говорить о том, как с начала кампании существовал план скифской войны заманивания Наполеона в глубь России, и приписывают этот план кто Пфулю, кто какому-то французу, кто Толю, кто самому императору Александру, указывая на записки, проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвидение того, что случилось, как со стороны французов, так и со стороны русских, выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были

бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные.

Предположения о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и со стороны русских — о завлечении неприятеля в глубь России — принадлежат, очевидно, к этому разряду, и историки только с большой натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противоречат таким предположениям. Не только во все время войны со стороны русских не было желания заманить французов в глубь России, но все было делаемо для того, чтобы остановить их с первого вступления их в Россию, и не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался, как торжеству, каждому своему шагу вперед и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании, искал сражения.

При самом начале кампании армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтобы отступать и завлекать неприятеля в глубь страны, в соединении армий не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устроивается громадный Дрисский лагерь по плану Пфуля и не предполагается отступать далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы, но допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора, и когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен и не дано пред стенами его генерального сражения.

Так думает государь, но русские военачальники и все русские люди еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают в глубь страны.

Наполеон, разрезав армии, движется в глубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске и думает только о том, как бы ему

идти дальше, хотя, как мы теперь видим, это движение вперед для него очевидно пагубно.

Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали тогда о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона в глубь страны произошло не по чьему-нибудь плану (никто и не верил в возможность этого), а произошло от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей — участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Все происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидной целью дать сражение и удержать наступление неприятеля, но в этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем и невольно отходя под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом потому, что французы двигаются между обеими армиями, — угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим потому, что Барклай де Толли, непопулярный немец, ненавистен Багратиону (имеющему стать под его начальство), и Багратион, командуя 2-й армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется, и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чином немцу Барклаю.

Император находится при армии, чтобы воодушевлять ее, а присутствие его и незнание на что решиться, и огромное количество советников и планов уничтожают энергию действий 1-ой армии, и армия отступает.

В Дрисском лагере предположено остановиться; но неожиданно Паулучи, метящий в главнокомандующие, своей энергией действует на Александра, и весь план Пфуля бросается, и все дело поручается Барклаю. Но так как Барклай не внушает доверия, власть его ограничивают.

Армии раздроблены, нет единства начальства, Барклай не популярен; но из этой путаницы, раздробления и непопулярности немца-главнокомандующего, с одной стороны, вытекает нерешительность и избежание сражения (от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армии были вместе и не Барклай был бы начальником), с другой стороны, — все большее и большее негодование против немцев и возбуждение патриотического духа.

Наконец государь уезжает из армии, и как единственный и удобнейший предлог для его отъезда избирается мысль, что ему надо воодушевить народ в столицах для возбуждения народной войны. И эта поездка государя в Москву утрояет силы русского войска.

Государь отъезжает из армии для того, чтобы не стеснять единство власти главнокомандующего, и надеется, что будут приняты более решительные меры; но положение начальства армий еще более путается и ослабевает. Бенигсен, великий князь и рой генерал-адъютантов остаются при армии с тем, чтобы следить за действиями главнокомандующего и возбуждать его к энергии, и Барклай, еще менее чувствуя себя свободным под глазами всех этих *глаз государевых,* делается еще осторожнее для решительных действий и избегает сражений.

Барклай стоит за осторожность. Цесаревич намекает на измену и требует генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влоцкий и тому подобные так раздувают весь этот шум, что Барклай, под предлогом доставления бумаг государю, отсылает поляков генерал-адъютантов в Петербург и входит в открытую борьбу с Бенигсеном и великим князем.

В Смоленске, наконец, как ни не желал того Багратион, соединяются армии.

Багратион в карете подъезжает к дому, занимаемому Барклаем. Барклай надевает шарф, выходит навстречу и рапортует старшему чином Багратиону. Багратион, в борьбе великодушия, несмотря на старшинство чина, подчиняется Барклаю; но, подчинившись, еще меньше соглашается с ним. Багратион лично, по приказанию государя, доносит ему. Он пишет Аракчееву: «Воля государя моего, я никак вместе с *министром* (Барклаем) не могу. Ради бога, пошлите меня куда-нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу

государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». Рой Браницких, Винцингероде и тому подобных еще больше отравляет сношения главнокомандующих, и выходит еще меньше единства. Сбираются атаковать французов перед Смоленском. Посылается генерал для осмотра позиции. Генерал этот, ненавидя Барклая, едет к приятелю, корпусному командиру, и, просидев у него день, возвращается к Барклаю и осуждает по всем пунктам будущее поле сражения, которого он не видал.

Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска.

Надо принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны.

Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа. Но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше, мы отступаем, и достигается то самое, что должно было победить Наполеона.

II

На другой день после отъезда сына князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью.

— Ну что, довольна теперь? — сказал он ей, — поссорила с сыном! Довольна? Тебе только и нужно было! Довольна?.. Мне это больно, больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну радуйся, радуйся... — И после этого княжна Марья в продолжение недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета.

К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь так же не допускал к себе и m-lle Bourienne. Один Тихон ходил за ним.

Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь, с особенной деятельностью занимаясь постройками и садами и прекратив все прежние отношения с m-lle Bourienne. Вид его и холодный тон с княжной Марьей как будто говорил ей: «Вот видишь, ты

выдумала на меня, налгала князю Андрею про отношения мои с этой француженкой и поссорила меня с ним; а ты видишь, что мне не нужны ни ты, ни француженка».

Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками, сама давала ему уроки русского языка и музыки, и разговаривая с Десалем; другую часть дня она проводила в своей половине с книгами, старухой няней и с божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней.

О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль, ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения, и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма.

«Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, — писала Жюли, — потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить... Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору.

Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах; но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня.

Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблемся!» И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем; но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры; только вас, мой друг, недостает...» и т. д.

Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны потому, что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был

так спокоен и уверен, что княжна Марья, не рассуждая, верила ему.

Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых. Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал не раздеваясь, между тем как не m-lle Bourienne, а мальчик Петруша читал ему; то он ночевал в столовой.

Первого августа было получено второе письмо от князя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ласковым письмом и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из-под Витебска, после того как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампании с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать в Москву.

За обедом в этот день на слова Десаля, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея.

— Получил от князя Андрея нынче, — сказал он княжне Марье, — не читала?

— Нет, mon père [1], — испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже и не слышала.

— Он пишет про войну про эту, — сказал князь с той сделавшейся ему привычной, презрительной улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну.

— Должно быть, очень интересно, — сказал Десаль. — Князь в состоянии знать...

— Ах, очень интересно! — сказала m-lle Bourienne.

— Подите принесите мне, — обратился старый князь

[1] батюшка.

к m-lle Bourienne. — Вы знаете, на маленьком столе под пресс-папье.

M-lle Bourienne радостно вскочила.

— Ах нет, — нахмурившись, крикнул он. — Поди ты, Михаил Иваныч.

Михаил Иваныч встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядывавшийся, бросил салфетку и пошел сам.

— Ничего-то не умеют, все перепутают.

Пока он ходил, княжна Марья, Десаль, m-lle Bourienne и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопутствуемый Михаилом Иванычем, с письмом и планом, которые он, не давая никому читать во время обеда, положил подле себя.

Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марье и, разложив пред собой план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца. Он смотрел на план, очевидно, погруженный в свои мысли.

— Что вы об этом думаете, князь? — позволил себе Десаль обратиться с вопросом.

— Я! я!.. — как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.

— Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам...

— Ха-ха-ха! Театр войны! — сказал князь. — Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.

Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.

— При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, — проговорил князь, видимо, думая о кампании 1807-го года, бывшей, как ему казалось, так недавно. — Бенигсен должен был раньше вступить в Пруссию, дело приняло бы другой оборот...

— Но, князь, — робко сказал Десаль, — в письме говорится о Витебске.

— А, в письме, да... — недовольно проговорил князь, — да... да... — Лицо его приняло вдруг мрачное выражение. Он помолчал. — Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?

Десаль опустил глаза.

— Князь ничего про это не пишет, — тихо сказал он.

— А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. — Все долго молчали.

— Да... да... Ну, Михайла Иваныч, — вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, — расскажи, как ты это хочешь переделать...

Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе.

Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.

Ввечеру Михаил Иваныч, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.

— Всё хлопочут, — с почтительно-насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. — Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, — понизив голос, сказал Михаил Иваныч, — у бюра, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти и которые он называл завещанием.)

— А Алпатыча посылают в Смоленск? — спросила княжна Марья.

— Как же-с, уж он давно ждет.

III

Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.

Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча.

На листочке бумаги у него было записано, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.

— Первое, бумаги почтовой, слышишь, восемь дестей, вот по образцу; золотообрезной... образчик, чтобы непременно по нем была; лаку, сургучу — по записке Михаила Иваныча.

Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.

— Потом губернатору лично письмо отдать о записи.

Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.

Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.

— Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.

Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.

Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.

Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.

Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

— Не так, не так! — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.

«Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», — подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.

Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и *вы* бы отпустили меня!» — думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

— Нет спокоя, проклятые! — проворчал он с гневом на кого-то. «Да, да, еще что-то важное было, очень что-то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. Десаль что-то — дурак этот — говорил. В кармане что-то — не вспомню».

— Тишка! Об чем за обедом говорили?

— Об князе, Михайле...

— Молчи, молчи. — Князь захлопал рукой по столу. — Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Теперь прочту.

Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой — восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.

«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».

— Тишка! — Тихон вскочил. — Нет, не надо, не надо! — прокричал он.

Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина — матушка-императрица, ее улыбки, слова,

когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.

«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»

IV

Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.

В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.

Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.

Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка — черная, белая, две старухи, мальчик-казачок, кучера и разные дворовые провожали его.

Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.

— Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! — пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания

о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.

— Вы, ежели что... вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, — прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

— Бабы, бабы, бабьи сборы, — проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных полей, на которых кое-где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.

Два раза покормив дорогой, к вечеру 4-го августа Алпатыч приехал в город.

По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска. Подъезжая к Смоленску, он слышал дальние выстрелы, но звуки эти не поразили его. Сильнее всего поразило его то, что, приближаясь к Смоленску, он видел прекрасное поле овса, которое какие-то солдаты косили, очевидно, на корм и по которому стояли лагерем; это обстоятельство поразило Алпатыча, но он скоро забыл его, думая о своем деле.

Все интересы жизни Алпатыча уже более тридцати лет были ограничены одной волей князя, и он никогда не выходил из этого круга. Все, что не касалось до исполнения приказаний князя, не только не интересовало его, но не существовало для Алпатыча.

Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром, в Гаченском предместье, на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов двенадцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой-носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом.

Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки, выходившей на улицу. Увидав Алпатыча, он подошел к нему.

— Добро пожаловать, Яков Алпатыч. Народ из города, а ты в город, — сказал хозяин.

— Что ж так, из города? — сказал Алпатыч.

— И я говорю, — народ глуп. Всё француза боятся.

— Бабьи толки, бабьи толки! — проговорил Алпатыч.

— Так-то и я сужу, Яков Алпатыч. Я говорю, приказ есть, что не пустят его, — значит, верно. Да и мужики по три рубля с подводы просят — креста на них нет!

Яков Алпатыч невнимательно слушал. Он потребовал самовар и сена лошадям и, напившись чаю, лег спать.

Всю ночь мимо постоялого двора двигались на улице войска. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко. Дорогой день для уборки хлеба, как думал Алпатыч. За городом с раннего утра слышались выстрелы.

С восьми часов к ружейным выстрелам присоединилась пушечная пальба. На улицах было много народу, куда-то спешащего, много солдат, но так же, как и всегда, ездили извозчики, купцы стояли у лавок и в церквах шла служба. Алпатыч прошел в лавки, в присутственные места, на почту и к губернатору. В присутственных местах, в лавках, на почте все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город; все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга.

У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народа, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. На крыльце Яков Алпатыч встретил двух господ дворян, из которых одного он знал. Знакомый ему дворянин, бывший исправник, говорил с жаром.

— Ведь это не шутки шутить, — говорил он. — Хорошо, кто один. Одна голова и бедна — так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество... Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после этого?.. Эх, перевешал бы разбойников...

— Да ну, будет, — говорил другой.

— А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, — сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча.

— А, Яков Алпатыч, ты зачем?

— По приказанию его сиятельства, к господину губернатору, — отвечал Алпатыч, гордо поднимая голову и

закладывая руку за пазуху, что он делал всегда, когда упоминал о князе... — Изволили приказать осведомиться о положении дел, — сказал он.

— Да вот и узнавай, — прокричал помещик, — довели, что ни подвод, ничего!.. Вот она, слышишь? — сказал он, указывая на ту сторону, откуда слышались выстрелы.

— Довели, что погибать всем... разбойники! — опять проговорил он и сошел с крыльца.

Алпатыч покачал головой и пошел на лестницу. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник, поговорил что-то с купцом, кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее и скрылся опять в дверь, видимо, избегая всех обращенных к нему взглядов и вопросов. Алпатыч продвинулся вперед и при следующем выходе чиновника, заложив руку за застегнутый сюртук, обратился к чиновнику, подавая ему два письма.

— Господину барону Ашу от генерала аншефа князя Болконского, — провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему:

— Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было: я поступал по высшим приказаниям — вот...

Он дал бумагу Алпатычу.

— А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Доложи... — Но губернатор не договорил: в дверь вбежал запыленный и запотелый офицер и начал что-то говорить по-французски. На лице губернатора изобразился ужас.

— Иди, — сказал он, кивнув головой Алпатычу, и стал что-то спрашивать у офицера. Жадные, испуганные, беспомощные взгляды обратились на Алпатыча, когда он вышел из кабинета губернатора. Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор. Бумага, которую дал губернатор Алпатычу, была следующая:

«Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идем на соединение перед Смоленском, которое

совершится 22-го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов отечества или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей Смоленска, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». (Предписание Барклая де Толли смоленскому гражданскому губернатору, барону Ашу, 1812 года.)

Народ беспокойно сновал по улицам.

Наложенные верхом возы с домашней посудой, стульями, шкафчиками то и дело выезжали из ворот домов и ехали по улицам. В соседнем доме Ферапонтова стояли повозки и, прощаясь, выли и приговаривали бабы. Дворняжка собака, лая, вертелась перед заложенными лошадьми.

Алпатыч более поспешным шагом, чем он ходил обыкновенно, вошел во двор и прямо пошел под сарай к своим лошадям и повозке. Кучер спал; он разбудил его, велел закладывать и вошел в сени. В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.

— До смерти убил — хозяйку бил!.. Так бил, так волочил!..

— За что? — спросил Алпатыч.

— Ехать просилась. Дело женское! Увези ты, говорит, меня, не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал, что, говорит, мы-то? Как зачал бить. Так бил, так волочил!

Алпатыч как бы одобрительно кивнул головой на эти слова и, не желая более ничего знать, подошел к противоположной — хозяйской двери горницы, в которой оставались его покупки.

— Злодей ты, губитель, — прокричала в это время худая, бледная женщина с ребенком на руках и с сорванным с головы платком, вырываясь из дверей и сбегая по лестнице на двор. Ферапонтов вышел за ней и, увидав Алпатыча, оправил жилет, волосы, зевнул и вошел в горницу за Алпатычем.

— Аль уж ехать хочешь? — спросил он.

Не отвечая на вопрос и не оглядываясь на хозяина, перебирая свои покупки, Алпатыч спросил, сколько за постой следовало хозяину.

— Сочтем! Что ж, у губернатора был? — спросил Ферапонтов. — Какое решение вышло?

Алпатыч отвечал, что губернатор ничего решительно не сказал ему.

— По нашему делу разве увеземся? — сказал Ферапонтов. — Дай до Дорогобужа по семи рублей за подводу. И я говорю: креста на них нет! — сказал он.

— Селиванов, тот угодил в четверг, продал муку в армию по девяти рублей за куль. Что же, чай пить будете? — прибавил он. Пока закладывали лошадей, Алпатыч с Ферапонтовым напились чаю и разговорились о цене хлебов, об урожае и благоприятной погоде для уборки.

— Однако затихать стала, — сказал Ферапонтов, выпив три чашки чая и поднимаясь, — должно, наша взяла. Сказано, не пустят. Значит, сила... А намесь, сказывали, Матвей Иваныч Платов их в реку Марину загнал, тысяч осьмнадцать, что ли, в один день потопил.

Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.

Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.

Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования.

Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова, не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.

К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из-за угла вышло несколько человек людей, оживленно разговаривая.

— То-то сила! — говорил один. — И крышку и потолок так в щепки и разбило.

— Как свинья и землю-то взрыло, — сказал другой. — Вот так важно, вот так подбодрил! — смеясь, сказал он. — Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.

Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом — ядра, то с приятным посвистыванием — гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в воротах.

— Чего не видала! — крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.

— Вот чуда-то, — приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.

Опять, но очень близко этот раз, засвистело что-то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что-то и застлало дымом улицу.

— Злодей, что ж ты это делаешь? — прокричал хозяин, подбегая к кухарке.

В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стоны и приговоры кухарки:

— Ой-о-ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..

Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул орудий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший

в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.

К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечернее небо все было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространенным по всему городу шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли. С двух сторон поднимались и расходились черные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разоренной кочки, в разных мундирах и в разных направлениях, проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой-то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя назад.

— Сдают город, уезжайте, уезжайте, — сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам:

— Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он.

Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы. Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.

Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

— Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! — закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.

— Решилась! Расея! — крикнул он. — Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась... — Ферапонтов побежал на двор.

По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела также на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать.

Была уже совсем ночь. На небе были звезды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей, и из-за неумолкаемого треска огня слышались говор и крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой-то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна; другие несли охапки сена.

Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч.

— Алпатыч! — вдруг окликнул старика чей-то знакомый голос.

— Батюшка, ваше сиятельство, — отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя.

Князь Андрей, в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча.

— Ты как здесь? — спросил он.

— Ваше... ваше сиятельство, — проговорил Алпатыч и зарыдал... — Ваше, ваше... или уж пропали мы? Отец...

— Как ты здесь? — повторил князь Андрей.

Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как насилу мог уехать.

— Что же, ваше сиятельство, или мы пропали? — спросил он опять.

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре:

«Смоленск сдают, — писал он, — Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Усвяж».

Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему.

— Вы полковник? — кричал штабный начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. — В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите, — кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, — место весьма приятное и на виду, как говорил Берг.

Князь Андрей посмотрел на него и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу:

— Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

— Я, князь, только потому говорю, — сказал Берг, узнав князя Андрея, — что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю... Вы меня, пожалуйста, извините, — в чем-то оправдывался Берг.

Что-то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из-под крыши. Еще страшно затрещало что-то в огне, и завалилось что-то огромное.

— Урруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.

Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:

— Важно! пошла драть! Ребята, важно!..

— Это сам хозяин, — послышались голоса.

— Так, так, — сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, — все передай, как я тебе говорил. — И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.

V

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10-го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато-красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Оставшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.

Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать

свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли *наш князь,* им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой *долг.*

Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6-го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете — о своем полку. 10-го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.

Он велел оседлать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруде никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее: стекла были разбиты, и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса-садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидал, что тесовый резной забор весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик (князь Андрей

видал его у ворот в детстве) сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке.

Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии.

Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом.

Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он сидел дома и читал Жития. Узнав о приезде князя Андрея, он, с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку.

Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово. Хлеб, до ста четвертей, тоже был вывезен; сено и яровой, необыкновенный, как говорил Алпатыч, урожай нынешнего года зеленым взят и скошен — войсками. Мужики разорены, некоторые ушли тоже в Богучарово, малая часть остается.

Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали седьмого, и опять распространился о делах хозяйства, спрашивая распоряжений.

— Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвертей осталось, — спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему?» — думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе.

— Да, отпускай, — сказал он.

— Ежели изволили заметить беспорядки в саду, — говорил Алпатыч, — то невозможно было предотвратить: три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны. Я выписал чин и звание командира для подачи прошения.

— Ну, что ж ты будешь делать? Останешься, ежели неприятель займет? — спросил его князь Андрей.

Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него; и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.

— Он мой покровитель, да будет воля его! — проговорил он.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

— Ну прощай! — сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. — Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. — Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее.

На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы.

Князь Андрей испуганно-поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, но вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки, очевидно, страстно желали одного — унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными, и князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что-то пища тоненькими голосками, придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками.

Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале, у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь

черный сюртук. Пыль, все такая же, неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было. В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду — какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно.

Один молодой белокурый солдат — еще князь Андрей знал его — третьей роты, с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду; другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде, подергивая мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье.

На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин, с красным носиком, обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:

— То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! — сказал он.

— Грязно, — сказал князь Андрей, поморщившись.

— Мы сейчас очистим вам. — И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.

— Князь хочет.

— Какой? *Наш* князь? — заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучше облиться в сарае.

«Мясо, тело, chair à canon!» [1] — думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.

7-го августа князь Багратион в своей стоянке Михайловке на Смоленской дороге писал следующее:

---

[1] пушечное мясо. — *Ред.*

«Милостивый государь граф Алексей Андреевич.

(Он писал Аракчееву, но знал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово.)

Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец и писал; но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35-ти часов и бил их; но он не хотел остаться и 14-ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, — неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну...

Что стоило еще оставаться два дни? По крайней мере, они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву...

Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений — мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякой из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло — надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах...

Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству; но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества... Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его.

Это больно; но, любя моего благодетеля и государя, — повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите, ради бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть...»

VI

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.

С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.

В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках-салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из

французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы-матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie [1] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille [2] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем un homme de beaucoup de mérite [3], рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям.

---

[1] своему достойному другу.
[2] в дипломатический салон своей дочери.
[3] человек с большими достоинствами.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю.

— Я говорил и говорил в Дворянском собрании, — перебил князь Василий, — но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

— Все какая-то мания фрондировать, — продолжал он. — И пред кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, — сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. — Ну прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine![1] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букареште! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не видит. В жмурки играть... ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

24-го июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, — и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет, после короткого совещания, предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками.

9-го августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de mérite[2]. L'homme de beaucoup de mérite ухаживал за Анной Павловной по

---

[1] хлопоты его пропадут даром!

[2] человеком с большими достоинствами.

случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний.

— Eh, bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est maréchal [1]. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! — говорил князь Василий. — Enfin voilà un homme [2], — проговорил он, значительно и строго оглядывая всех находившихся в гостиной. L'homme de beaucoup de mérite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью его прежнее суждение. (Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и перед Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть; но он не мог удержаться.)

— Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince? [3] — сказал он, напоминая князю Василью его же слова.

— Allez donc, il y voit assez [4], — сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. — Allez, il y voit assez, — повторил он. — И чему я рад, — продолжал он, — это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, — власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец, — заключил он с победоносной улыбкой.

— Дай бог, дай бог, — сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de mérite, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал:

— Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. On dit qu'il rougit comme une demoiselle à laquelle on lirait Joconde, en lui disant: «Le souverain et la patrie vous decernent cet honneur» [5].

— Peut-être que la cœur n'était pas de la partie [6], — сказала Анна Павловна.

---

[1] Ну-с, вы знаете великую новость? Кутузов — фельдмаршал.

[2] Наконец, вот это человек.

[3] Но говорят, он слеп?

[4] Э, вздор, он достаточно видит, поверьте.

[5] Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли Жоконду, в то время как говорил ему: «Государь и отечество награждают вас этой честью».

[6] Может быть, сердце не вполне участвовало.

— О нет, нет, — горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василья, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. — Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его, — сказал он.

— Дай бог только, чтобы князь Кутузов, — сказала Анна Павловна, — взял действительную власть и не позволял бы *никому* вставлять себе палки в колеса — des bâtons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот *никому*. Он шепотом сказал:

— Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтобы наследник-цесаревич не был при армии: Vous savez ce qu'il a dit à l'Empereur? [1] — И князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О! это умнейший человек, князь Кутузов, et quel caractère. Oh je le connais de longue date [2].

— Говорят даже, — сказал l'homme de beaucoup de mérite, не имевший еще придворного такта, — что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.

VII

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека; он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего все про-

---

[1] Вы знаете, что он сказал государю?

[2] и какой характер. О, я его давно знаю.

шедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренно убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов?

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в ста двенадцати верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables églises en forme de pagodes chinoises![1] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Lelorgne d'Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

— Eh bien? — сказал Наполеон.

— Un cosaque de Platow[2] говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Très intelligent et bavard![3]

Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним.

---

[1] Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра, Москва с своими бесчисленными церквами, в форме китайских пагод!

[2] — Ну?

— Платовский казак.

[3] Очень умный и болтун!

Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать:

— Вы казак?

— Казак-с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicité de Napoléon n'avait rien qui pût révéler à une imagination orientale la présence d'un souverain, s'entretint avec la plus extrême familiarité des affaires de la guerre actuelle» [1], — говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам.

Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон.

Он врал все, что толковалось между денщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался.

Он увидал тут тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди, подобные Лаврушке, насупился и помолчал.

---

[1] Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны.

— Оно значит: коли быть сраженью, — сказал он задумчиво, — и в скорости, так это так точно. Ну, а коли пройдет три дня апосля того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.

Наполеону перевели так: «Si la bataille est donnée avant trois jours, les Français la gagneraient, mais que si elle serait donnée plus tard, Dieu seul sait ce qui en arrivrait» [1], — улыбаясь передал Lelorgne d'Ideville. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа, и велел повторить себе эти слова.

Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья... — сказал он, сам не зная, как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur» [2], — говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don [3] известие о том, что тот человек, с которым говорит этот enfant du Don, есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно-победоносное имя.

Известие было передано.

Лаврушка (поняв, что это делалось, чтобы озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается), чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. «A peine l'interprète de Napoléon, — говорит Тьер, — avait-il parlé, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ébahissement, ne proféra plus une parole et marcha les yeux constamment attachés sur ce conquérant, dont le nom avait pénétre jusqu'à lui, à travers les steppes de l'Orient. Toute sa loquacité s'était subitement arrêtée, pour faire place à un sentiment d'admiration naïve et silencieuse, Napoléon, après l'avoir récompensé, lui fit

---

[1] «Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает что случится».

[2] Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника.

[3] на это дитя Дона.

donner la liberté, comme à un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naître»[1].

Наполеон поехал дальше, мечтая о той Moscou, которая так занимала его воображение, а l'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'on vu naître[2] поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина Николая Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

VIII

Княжна Марья не была в Москве и вне опасности, как думал князь Андрей.

После возвращения Алпатыча из Смоленска старый князь как бы вдруг опомнился от сна. Он велел собрать из деревень ополченцев, вооружить их и написал главнокомандующему письмо, в котором извещал его о принятом им намерении оставаться в Лысых Горах до последней крайности и защищаться, предоставляя на его усмотрение принять или не принять меры для защиты Лысых Гор, в которых будет взят в плен или убит один из старейших русских генералов, и объявил домашним, что он остается в Лысых Горах.

Но, оставаясь сам в Лысых Горах, князь распорядился об отправке княжны и Десаля с маленьким князем в Богучарово и оттуда в Москву. Княжна Марья, испуганная лихорадочной, бессонной деятельностью отца, заменившей его прежнюю опущенность, не могла решиться оставить его одного и в первый раз в жизни позволила себе не

---

[1] Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям.

[2] птица, возвращенная родным полям.

повиноваться ему. Она отказалась ехать, и на нее обрушилась страшная гроза гнева князя. Он напомнил ей все, в чем он был несправедлив против нее. Стараясь обвинить ее, он сказал ей, что она измучила его, что она поссорила его с сыном, имела против него гадкие подозрения, что она задачей своей жизни поставила отравлять его жизнь, и выгнал ее из своего кабинета, сказав ей, что, ежели она не уедет, ему все равно. Он сказал, что знать не хочет о ее существовании, но вперед предупреждает ее, чтобы она не смела попадаться ему на глаза. То, что он, вопреки опасений княжны Марьи, не велел насильно увезти ее, а только не приказал ей показываться на глаза, обрадовало княжну Марью. Она знала, что это доказывало то, что в самой тайне души своей он был рад, что она оставалась дома и не уехала.

На другой день после отъезда Николушки старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать к главнокомандующему. Коляска уже была подана. Княжна Марья видела, как он, в мундире и всех орденах, вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Княжна Марья сидела у окна, прислушиваясь к его голосу, раздававшемуся из сада. Вдруг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами.

Княжна Марья выбежала на крыльцо, на цветочную дорожку и в аллею. Навстречу ей подвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Марья подбежала к нему и, в игре мелкими кругами падавшего света сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидала, было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время.

Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны.

В Лысых Горах оставаться становилось более и более опасным, и на другой день после удара князя повезли в Богучарово. Доктор поехал с ними.

Когда они приехали в Богучарово, Десаль с маленьким князем уже уехали в Москву.

Все в том же положении, не хуже и не лучше, разбитый параличом, старый князь три недели лежал в Богучарове в новом, построенном князем Андреем, доме. Старый князь был в беспамятстве; он лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное — это то, что он страдал и чувствовал потребность еще выразить что-то. Но что это было, никто не мог понять; был ли это какой-нибудь каприз больного и полусумасшедшего, относилось ли это до общего хода дел, или относилось это до семейных обстоятельств?

Доктор говорил, что выражаемое им беспокойство ничего не значило, что оно имело физические причины; но княжна Марья думала (и то, что ее присутствие всегда усиливало его беспокойство, подтверждало ее предположение), думала, что он что-то хотел сказать ей. Он, очевидно, страдал и физически и нравственно.

Надежды на исцеление не было. Везти его было нельзя. И что бы было, ежели бы он умер дорогой? «Не лучше ли бы было конец, совсем конец!» — иногда думала княжна Марья. Она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти признаки облегчения, но следила, часто *желая* найти признаки приближения к концу.

Как ни странно было княжне сознавать в себе это чувство, но оно было в ней. И что было еще ужаснее для княжны Марьи, это было то, что со времени болезни ее отца (даже едва ли не раньше, не тогда ли уж, когда она, ожидая чего-то, осталась с ним) в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды. То, что годами не приходило ей в голову — мысли о свободной жизни без вечного страха отца, даже мысли о возможности любви и семейного счастия, как искушения дьявола, беспрестанно носились в ее воображении. Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после *того*, устроит свою жизнь. Это были искушения дьявола, и княжна Марья знала это. Она знала, что единственное орудие против него была молитва, и она пыталась молиться. Она становилась в положение молитвы, смотрела

на образа, читала слова молитвы, но не могла молиться. Она чувствовала, что теперь ее охватил другой мир — житейской, трудной и свободной деятельности, совершенно противоположный тому нравственному миру, в который она была заключена прежде и в котором лучшее утешение была молитва. Она не могла молиться и не могла плакать, и житейская забота охватила ее.

Оставаться в Богучарове становилось опасным. Со всех сторон слышно было о приближающихся французах, и в одной деревне, в пятнадцати верстах от Богучарова, была разграблена усадьба французскими мародерами.

Доктор настаивал на том, что надо везти князя дальше; предводитель прислал чиновника к княжне Марье, уговаривая ее уезжать как можно скорее. Исправник, приехав в Богучарово, настаивал на том же, говоря, что в сорока верстах французы, что по деревням ходят французские прокламации и что ежели княжна не уедет с отцом до пятнадцатого, то он ни за что не отвечает.

Княжна пятнадцатого решилась ехать. Заботы приготовлений, отдача приказаний, за которыми все обращались к ней, целый день занимали ее. Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое она провела, как обыкновенно, не раздеваясь, в соседней от той комнаты, в которой лежал князь. Несколько раз, просыпаясь, она слышала его кряхтенье, бормотанье, скрип кровати и шаги Тихона и доктора, ворочавших его. Несколько раз она прислушивалась у двери, и ей казалось, что он нынче бормотал громче обыкновенного и чаще ворочался. Она не могла спать и несколько раз подходила к двери, прислушиваясь, желая войти и не решаясь этого сделать. Хотя он и не говорил, но княжна Марья видела, знала, как неприятно было ему всякое выражение страха за него. Она замечала, как недовольно он отвертывался от ее взгляда, иногда невольно и упорно на него устремленного. Она знала, что ее приход ночью, в необычное время, раздражит его.

Но никогда ей так жалко не было, так страшно не было потерять его. Она вспоминала всю свою жизнь с ним, и в каждом слове, поступке его она находила выражение его любви к ней. Изредка между этими воспоминаниями врывались в ее воображение искушения дьявола, мысли о том, что будет после его смерти и как устроится ее новая, свободная жизнь. Но с отвращением отгоняла она эти мысли. К утру он затих, и она заснула.

Она проснулась поздно. Та искренность, которая бывает при пробуждении, показала ей ясно то, что более всего в болезни отца занимало ее. Она проснулась, прислушалась к тому, что было за дверью, и, услыхав его кряхтенье, со вздохом сказала себе, что было все то же.

— Да чему же быть? Чего же я хотела? Я хочу его смерти! — вскрикнула она с отвращением к себе самой.

Она оделась, умылась, прочла молитвы и вышла на крыльцо. К крыльцу поданы были без лошадей экипажи, в которые укладывали вещи.

Утро было теплое и серое. Княжна Марья остановилась на крыльце, не переставая ужасаться перед своей душевной мерзостью и стараясь привести в порядок свои мысли, прежде чем войти к нему.

Доктор сошел с лестницы и подошел к ней.

— Ему получше нынче, — сказал доктор. — Я вас искал. Можно кое-что понять из того, что он говорит, голова посвежее. Пойдемте. Он зовет вас...

Сердце княжны Марьи так сильно забилось при этом известии, что она, побледнев, прислонилась к двери, чтобы не упасть. Увидать его, говорить с ним, подпасть под его взгляд теперь, когда вся душа княжны Марьи была переполнена этих страшных преступных искушений, — было мучительно-радостно и ужасно.

— Пойдемте, — сказал доктор.

Княжна Марья вошла к отцу и подошла к кровати. Он лежал высоко на спине, с своими маленькими, костлявыми, покрытыми лиловыми узловатыми жилками ручками на одеяле, с уставленным прямо левым глазом и с скосившимся правым глазом, с неподвижными бровями и губами. Он весь был такой худенький, маленький и жалкий. Лицо его, казалось, ссохлось или растаяло, измельчало чертами. Княжна Марья подошла и поцеловала его руку. Левая рука сжала ее руку так, что видно было, что он уже давно ждал ее. Он задергал ее руку, и брови и губы его сердито зашевелились.

Она испуганно глядела на него, стараясь угадать, чего он хотел от нее. Когда она, переменя положение, подвинулась, так что левый глаз видел ее лицо, он успокоился, на несколько секунд не спуская с нее глаза. Потом губы и язык его зашевелились, послышались звуки, и он стал говорить, робко и умоляюще глядя на нее, видимо, боясь, что она не поймет его.

Княжна Марья, напрягая все силы внимания, смотрела на него. Комический труд, с которым он ворочал языком, заставлял княжну Марью опускать глаза и с трудом подавлять поднимавшиеся в ее горле рыдания. Он сказал что-то, по нескольку раз повторяя свои слова. Княжна Марья не могла понять их; но она старалась угадать то, что он говорил, и повторяла вопросительно сказанные им слова.

— Гага — бои... бои... — повторил он несколько раз...

Никак нельзя было понять этих слов. Доктор думал, что он угадал, и, повторяя его слова, спросил: *княжна боится?* Он отрицательно покачал головой и опять повторил то же...

— *Душа, душа болит,* — разгадала и сказала княжна Марья. Он утвердительно замычал, взял ее руку и стал прижимать ее к различным местам своей груди, как будто отыскивая настоящее для нее место.

— Все мысли! об тебе... мысли, — потом выговорил он гораздо лучше и понятнее, чем прежде, теперь, когда он был уверен, что его понимают. Княжна Марья прижалась головой к его руке, стараясь скрыть свои рыдания и слезы.

Он рукой двигал по ее волосам.

— Я тебя звал всю ночь... — выговорил он.

— Ежели бы я знала... — сквозь слезы сказала она. — Я боялась войти.

Он пожал ее руку.

— Не спала ты?

— Нет, я не спала, — сказала княжна Марья, отрицательно покачав головой. Невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он говорил, старалась говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Душенька... — или — дружок... — Княжна Марья не могла разобрать; но, наверное, по выражению его взгляда, сказано было нежное, ласкающее слово, которого он никогда не говорил. — Зачем не пришла?

«А я желала, желала его смерти!» — думала княжна Марья. Он помолчал.

— Спасибо тебе... дочь, дружок... за все, за все... прости... спасибо... прости... спасибо!.. — И слезы текли из его глаз. — Позовите Андрюшу, — вдруг сказал он, и что-то детски-робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе. Он как будто сам знал, что спрос его

не имеет смысла. Так, по крайней мере, показалось княжне Марье.

— Я от него получила письмо, — отвечала княжна Марья.

Он с удивлением и робостью смотрел на нее.

— Где же он?

— Он в армии, mon père, в Смоленске.

Он долго молчал, закрыв глаза; потом утвердительно, как бы в ответ на свои сомнения и в подтверждение того, что он теперь все понял и вспомнил, кивнул головой и открыл глаза.

— Да, — сказал он явственно и тихо. — Погибла Россия! Погубили! — И он опять зарыдал, и слезы потекли у него из глаз. Княжна Марья не могла более удерживаться и плакала тоже, глядя на его лицо.

Он опять закрыл глаза. Рыдания его прекратились. Он сделал знак рукой к глазам; и Тихон, поняв его, отер ему слезы.

Потом он открыл глаза и сказал что-то, чего долго никто не мог понять и, наконец, понял и передал один Тихон. Княжна Марья отыскивала смысл его слов в том настроении, в котором он говорил за минуту перед этим. То она думала, что он говорит о России, то о князе Андрее, то о ней, о внуке, то о своей смерти. И от этого она не могла угадать его слов.

— Надень твое белое платье, я люблю его, — говорил он.

Поняв эти слова, княжна Марья зарыдала еще громче, и доктор, взяв ее под руку, вывел ее из комнаты на террасу, уговаривая ее успокоиться и заняться приготовлениями к отъезду. После того как княжна Марья вышла от князя, он опять заговорил о сыне, о войне, о государе, задергал сердито бровями, стал возвышать хриплый голос, и с ним сделался второй и последний удар.

Княжна Марья остановилась на террасе. День разгулялся, было солнечно и жарко. Она не могла ничего понимать, ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме своей страстной любви к отцу, любви, которой, ей казалось, она не знала до этой минуты. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.

— Да... *я... я... я.* Я желала его смерти. Да, я желала, чтобы скорее кончилось... *Я* хотела успокоиться... А что ж будет со мной? На что мне спокойствие, когда его не

будет, — бормотала вслух княжна Марья, быстрыми шагами ходя по саду и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Обойдя по саду круг, который привел ее опять к дому, она увидала идущих к ней навстречу m-lle Bourienne (которая оставалась в Богучарове и не хотела оттуда уехать) и незнакомого мужчину. Это был предводитель уезда, сам приехавший к княжне с тем, чтобы представить ей всю необходимость скорого отъезда. Княжна Марья слушала и не понимала его; она ввела его в дом, предложила ему завтракать и села с ним. Потом, извинившись перед предводителем, она подошла к двери старого князя. Доктор с встревоженным лицом вышел к ней и сказал, что нельзя.

— Идите, княжна, идите, идите!

Княжна Марья пошла опять в сад и под горой у пруда, в том месте, где никто не мог видеть, села на траву. Она не знала, как долго она пробыла там. Чьи-то бегущие женские шаги по дорожке заставили ее очнуться. Она поднялась и увидала, что Дуняша, ее горничная, очевидно, бежавшая за нею, вдруг, как бы испугавшись вида своей барышни, остановилась.

— Пожалуйте, княжна... князь... — сказала Дуняша сорвавшимся голосом.

— Сейчас, иду, иду, — поспешно заговорила княжна, не давая времени Дуняше договорить ей то, что она имела сказать, и, стараясь не видеть Дуняши, побежала к дому.

— Княжна, воля божья совершается, вы должны быть на все готовы, — сказал предводитель, встречая ее у входной двери.

— Оставьте меня. Это неправда! — злобно крикнула она на него. Доктор хотел остановить ее. Она оттолкнула его и подбежала к двери. «И к чему эти люди с испуганными лицами останавливают меня? Мне никого не нужно! И что они тут делают?» — Она отворила дверь, и яркий дневной свет в этой прежде полутемной комнате ужаснул ее. В комнате были женщины и няня. Они все отстранились от кровати, давая ей дорогу. Он лежал все так же на кровати; но строгий вид его спокойного лица остановил княжну Марью на пороге комнаты.

«Нет, он не умер, это не может быть!» — сказала себе княжна Марья, подошла к нему и, преодолевая ужас, охвативший ее, прижала к щеке его свои губы. Но она тотчас же отстранилась от него. Мгновенно вся сила

нежности к нему, которую она чувствовала в себе, исчезла и заменилась чувством ужаса к тому, что было перед нею. «Нет, нет его больше! Его нет, а есть тут же, на том же месте, где был он, что-то чуждое и враждебное, какая-то страшная, ужасающая и отталкивающая тайна...» — И, закрыв лицо руками, княжна Марья упала на руки доктора, поддержавшего ее.

В присутствии Тихона и доктора женщины обмыли то, что был он, повязали платком голову, чтобы не закостенел открытый рот, и связали другим платком расходившиеся ноги. Потом они одели в мундир с орденами и положили на стол маленькое ссохшееся тело. Бог знает, кто и когда позаботился об этом, но все сделалось как бы само собой. К ночи кругом гроба горели свечи, на гробу был покров, на полу был посыпан можжевельник, под мертвую ссохшуюся голову была положена печатная молитва, а в углу сидел дьячок, читая псалтырь.

Как лошади шарахаются, толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной вокруг гроба толпился народ чужой и свой — предводитель, и староста, и бабы, и все с остановившимися испуганными глазами, крестились и кланялись, и целовали холодную и закоченевшую руку старого князя.

IX

Богучарово было всегда, до поселения в нем князя Андрея, заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. Они назывались степными. Старый князь хвалил их за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их дикость.

Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями — больницами, школами и облегчением оброка, — не смягчило их нравов, а, напротив, усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила,

да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне и Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле.

В окрестности Богучарова были всё большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало; очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие-то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупáлись, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812-м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению.

Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение и что, противно тому, что происходило в полосе Лысых Гор на шестидесятиверстном радиусе, где все крестьяне уходили (предоставляя казакам разорять свои деревни), в полосе степной, в богучаровской, крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах. Он знал через преданных ему дворовых людей, что ездивший на днях с казенной подводой мужик Карп, имевший большое

влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают. Он знал, что другой мужик вчера привез даже из села Вислоухова — где стояли французы — бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что им не будет сделано никакого вреда и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Вислоухова сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено.

Наконец, важнее всего, Алпатыч знал, что в тот самый день, как он приказал старосте собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. А между тем время не терпело. Предводитель, в день смерти князя, 15-го августа, настаивал у княжны Марьи на том, чтобы она уехала в тот же день, так как становилось опасно. Он говорил, что после 16-го он не отвечает ни за что. В день же смерти князя он уехал вечером, но обещал приехать на похороны на другой день. Но на другой день он не мог приехать, так как, по полученным им самим известиям, французы неожиданно подвинулись, и он только успел увезти из своего имения свое семейство и все ценное.

Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой.

Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в го́да, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти — семидесяти лет, без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в шестьдесят лет, как и в тридцать.

Дрон, вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие, был сделан старостой-бурмистром в Богучарове и с тех пор двадцать три года безупречно пробыл в этой должности. Мужики боялись его больше, чем барина. Господа, и старый князь, и молодой, и управляющий, уважали его и в шутку называли министром. Во все время своей службы Дрон ни разу не был ни пьян, ни болен; никогда, ни после бессонных ночей, ни после каких бы то ни было трудов, не выказывал ни малейшей усталости и, не зная грамоте, никогда не забывал ни одного счета денег и пудов муки по огромным обозам, которые он продавал, и ни одной

копны ужина хлеба на каждой десятине богучаровских полей.

Этого-то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых Гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить двенадцать лошадей под экипажи княжны и восемнадцать подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Хотя мужики и были оброчные, исполнение приказания этого не могло встретить затруднения, по мнению Алпатыча, так как в Богучарове было двести тридцать тягол и мужики были зажиточные. Но староста Дрон, выслушав приказание, молча опустил глаза. Алпатыч назвал ему мужиков, которых он знал и с которых он приказывал взять подводы.

Дрон отвечал, что лошади у этих мужиков в извозе. Алпатыч назвал других мужиков, и у тех лошадей не было, по словам Дрона, одни были под казенными подводами, другие бессильны, у третьих подохли лошади от бескормицы. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.

Алпатыч внимательно посмотрел на Дрона и нахмурился. Как Дрон был образцовым старостой-мужиком, так и Алпатыч недаром управлял двадцать лет имениями князя и был образцовым управляющим. Он в высшей степени способен был понимать чутьем потребности и инстинкты народа, с которым имел дело, и потому он был превосходным управляющим. Взглянув на Дрона, он тотчас понял, что ответы Дрона не были выражением мысли Дрона, но выражением того общего настроения богучаровского мира, которым староста уже был захвачен. Но вместе с тем он знал, что нажившийся и ненавидимый миром Дрон должен был колебаться между двумя лагерями — господским и крестьянским. Это колебание он заметил в его взгляде, и потому Алпатыч, нахмурившись, придвинулся к Дрону.

— Ты, Дронушка, слушай! — сказал он. — Ты мне пустого не говори. Его сиятельство князь Андрей Николаич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться, и царский на то приказ есть. А кто останется, тот царю изменник. Слышишь?

— Слушаю, — отвечал Дрон, не поднимая глаз.

Алпатыч не удовлетворился этим ответом.

— Эй, Дрон, худо будет! — сказал Алпатыч, покачав головой.

— Власть ваша! — сказал Дрон печально.

— Эй, Дрон, оставь! — повторил Алпатыч, вынимая руку из-за пазухи и торжественным жестом указывая ею на пол под ноги Дрона. — Я не то, что тебя насквозь, я под тобой на три аршина все насквозь вижу, — сказал он, вглядываясь в пол под ноги Дрона.

Дрон смутился, бегло взглянул на Алпатыча и опять опустил глаза.

— Ты вздор-то оставь и народу скажи, чтобы собирались из домов идти в Москву и готовили подводы завтра к утру под княжнин обоз, да сам на сходку не ходи. Слышишь?

Дрон вдруг упал в ноги.

— Яков Алпатыч, уволь! Возьми от меня ключи, уволь ради Христа.

— Оставь! — сказал Алпатыч строго. — Под тобой насквозь на три аршина вижу, — повторил он, зная, что его мастерство ходить за пчелами, знание того, когда сеять овес, и то, что он двадцать лет умел угодить старому князю, давно приобрели ему славу колдуна и что способность видеть на три аршина под человеком приписывается колдунам.

Дрон встал и хотел что-то сказать, но Алпатыч перебил его:

— Что вы это вздумали? А?.. Что ж вы думаете? А?

— Что мне с народом делать? — сказал Дрон. — Взбуровило совсем. Я и то им говорю...

— То-то говорю, — сказал Алпатыч. — Пьют? — коротко спросил он.

— Весь взбуровился, Яков Алпатыч: другую бочку привезли.

— Так ты слушай. Я к исправнику поеду, а ты народу повести, и чтоб они это бросили, и чтоб подводы были.

— Слушаю, — отвечал Дрон.

Больше Яков Алпатыч не настаивал. Он долго управлял народом и знал, что главное средство для того, чтобы люди повиновались, состоит в том, чтобы не показывать им сомнения в том, что они могут не повиноваться. Добившись от Дрона покорного «слушаю-с», Яков Алпатыч удовлетворился этим, хотя он не только сомневался, но почти был уверен в том, что подводы без помощи воинской команды не будут доставлены.

И действительно, к вечеру подводы не были собраны. На деревне у кабака была опять сходка, и на сходке по-

ложено было угнать лошадей в лес и не выдавать подвод. Ничего не говоря об этом княжне, Алпатыч велел сложить с пришедших из Лысых Гор свою собственную кладь и приготовить этих лошадей под кареты княжны, а сам поехал к начальству.

X

После похорон отца княжна Марья заперлась в своей комнате и никого не впускала к себе. К двери подошла девушка сказать, что Алпатыч пришел спросить приказания об отъезде. (Это было еще до разговора Алпатыча с Дроном.) Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором она лежала, и сквозь затворенную дверь проговорила, что она никуда и никогда не поедет и просит, чтобы ее оставили в покое.

Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном: она думала о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которой она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к богу. Она долго лежала в этом положении.

Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветило комнату и часть сафьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера.

«Да, теперь тебе удобно любоваться вечером! Его уже нет, и никто тебе не помешает», — сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник.

Кто-то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была m-lle Bourienne, в черном платье и плерезах. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились княжне Марье; вспомнилось и то, как *он*

последнее время изменился к m-lle Bourienne, не мог ее видеть, и, стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. «Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти, осуждать кого-нибудь!» — подумала она.

Княжне Марье живо представилось положение m-lle Bourienne, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. И ей стало жалко ее. Она кротко-вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. M-lle Bourienne тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми и что *он* оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса.

— Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, — помолчав немного, сказала m-lle Bourienne. — Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе; но я моей любовью к вам обязана это сделать... Алпатыч был у вас? Говорил он с вами об отъезде? — спросила она.

Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. «Разве можно было что-нибудь предпринимать теперь, думать о чем-нибудь? Разве не все равно?» Она не отвечала.

— Вы знаете ли, chère Marie, — сказала m-lle Bourienne, — знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами; ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти наверное попадем в плен, и бог знает...

Княжна Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила.

— Ах, ежели бы кто-нибудь знал, как мне все все равно теперь, — сказала она. — Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от *него*... Алпатыч мне говорил что-то об отъезде... Поговорите с ним, я ничего, ничего не могу и не хочу...

— Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра; но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, — сказала m-lle Bourienne. — Потому что, согласитесь, chère Marie, попасть в руки солдат или бун-

тующих мужиков на дороге — было бы ужасно. — M-lle Bourienne достала из ридикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне.

— Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, — сказала m-lle Bourienne, — и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.

Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.

— Через кого вы получили это? — сказала она.

— Вероятно, узнали, что я француженка по имени, — краснея, сказала m-lle Bourienne.

Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.

— Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого-нибудь, — сказала княжна Марья, — и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, —прибавила она, услыхав голос m-lle Bourienne. — Поскорее ехать! Ехать скорее! — говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.

«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями!» — Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что̀ только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M-lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово [1]. Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю...» — думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все

---

[1] Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.

равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.

Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее.

Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m-lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю-с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.

Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.

Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.

— Дронушка, — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. — Дронушка, теперь, после нашего несчастия, — начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.

— Все под богом ходим, — со вздохом сказал он. Они помолчали.

— Дронушка, Алпатыч куда-то уехал, мне не к кому обратиться. Правда ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

— Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, — сказал Дрон.

— Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. — Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.

— Лошадей нет, — сказал он, — я и Яков Алпатычу говорил.

— Отчего же нет? — сказала княжна.

— Все от божьего наказания, — сказал Дрон. — Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.

Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.

— Мужики разорены? У них хлеба нет? — спросила она.

— Голодной смертью помирают, — сказал Дрон, — не то что подводы...

— Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу... — Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как-нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.

— Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? — спросила она.

— Господский хлеб весь цел, — с гордостью сказал Дрон, — наш князь не приказывал продавать.

— Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, — сказала княжна Марья.

Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.

— Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.

Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.

— Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, — сказал он. — Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.

Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

XI

Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.

— Да я никогда не звала их, — сказала княжна Марья, — я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.

— Только, ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, — говорила Дуняша, — а Яков Алпатыч приедут, и поедем... и вы не извольте...

— Какой же обман? — удивленно спросила княжна.

— Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.

— Ты что-нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать... — сказала княжна Марья. — Позови Дронушку.

Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.

— Да я никогда не звала их, — сказала княжна. — Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.

Дрон, не отвечая, вздохнул.

— Если прикажете, они уйдут, — сказал он.

— Нет, нет, я пойду к ним, — сказала княжна Марья.

Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею.

«Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, — думала княжна Марья. — Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что André еще больше бы сделал на моем месте», — думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.

Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она — представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.

— Я очень рада, что вы пришли, — начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. — Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко... потому что... Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. — Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.

— Я не от себя делаю это, — продолжала княжна, — я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.

Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.

— Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, — сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.

Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это

любопытство, преданность, благодарность или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.

— Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, — сказал голос сзади.

— Да отчего же? — сказала княжна.

Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.

— Отчего же вы не хотите? — спросила она опять. Никто не отвечал.

Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей-нибудь взгляд.

— Отчего вы не говорите? — обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. — Скажи, ежели ты думаешь, что еще что-нибудь нужно. Я все сделаю, — сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:

— Чего соглашаться-то, не нужно нам хлеба.

— Что ж, нам все бросить-то? Не согласны. Не согласны... Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна... — раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

— Да вы не поняли, верно, — с грустной улыбкой сказала княжна Марья. — Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас...

Но голос ее заглушали голоса толпы.

— Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей-нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! — слышались голоса в толпе.

Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.

XII

Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном — о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из-за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман-роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.

Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего — болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое — она чувствовала — она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.

То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что-то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.

«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, — думала она. — Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что-то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? — думала тогда и теперь княжна Марья. — Уж он не выскажет никогда никому теперь

всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? — думала она. — Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, — он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: «Дурак». Ему тяжело было. Я слышала из-за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: «Бог мой!» Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово». И княжна Марья вслух произнесла то ласкательное слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду-ше-нь-ка!» — повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо — робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.

«Душенька», — повторила она.

«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь?» — вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что-то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.

— Дуняша! — прошептала она. — Дуняша! — вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.

XIII

17-го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами — попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.

Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.

Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.

Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.

— Ты вперед взял, — говорил раскрасневшийся Ильин.

— Да, всё вперед, и на лугу вперед, и тут, — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.

— А я на французской, ваше сиятельство, — сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, — перегнал бы, да только срамить не хотел.

Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.

Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.

— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов. — Что, сено есть?

— И одинакие какие... — сказал Ильин.

— Развесе... оо...ооо...лая бесе...бесе... — распевали мужики с счастливыми улыбками.

Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.

— Вы из каких будете? — спросил он.

— Французы, — отвечал, смеючись, Ильин. — Вот и Наполеон сам, — сказал он, указывая на Лаврушку.

— Стало быть, русские будете? — переспросил мужик.

— А много вашей силы тут? — спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.

— Много, много, — отвечал Ростов. — Да вы что ж собрались тут? — прибавил он. — Праздник, что ль?

— Старички собрались, по мирскому делу, — отвечал мужик, отходя от него.

В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.

— В розовом моя, чур не отбивать! — сказал Ильин. заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

— Наша будет! — подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

— Что, моя красавица, нужно? —сказал Ильин, улыбаясь.

— Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?

— Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.

— Бе...се...е...ду...шка! — распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.

— Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. — Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать... не угодно ли будет, — с грустной улыбкой сказал Алпатыч, — отъехать несколько, а то не так удобно при... — Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.

— А!.. Алпатыч... А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. — говорили мужики, радостно

улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

— Или, может, это утешает ваше сиятельство? — сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.

— Нет, тут утешенья мало, — сказал Ростов и отъехал. — В чем дело? — спросил он.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.

— Не может быть! — вскрикнул Ростов.

— Имею честь докладывать вам сущую правду, — повторил Алпатыч.

Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по-старому будут служить ей и во всем повиноваться.

В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговариванье Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать; но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.

— Батюшка! отец родной! бог тебя послал, — говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.

Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он, и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обры-

вавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что-то романическое в этой встрече. «Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда! — думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. — И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении!» — думал он, слушая ее робкий рассказ.

Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно-испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица.

— Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность, — сказал Ростов, вставая. — Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас, — и, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери.

Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею.

Княжна Марья поняла и оценила этот тон.

— Я очень, очень благодарна вам, — сказала ему княжна по-французски, — но надеюсь, что все это было только недоразуменье и что никто не виноват в том. — Княжна вдруг заплакала. — Извините меня, — сказала она.

Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.

XIV

— Ну что, мила̀? Нет, брат, розовая моя прелесть, и Дуняшей зовут... — Но, взглянув на лицо Ростова, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.

Ростов злобно оглянулся на Ильина и, не отвечая ему, быстрыми шагами направился к деревне.

— Я им покажу, я им задам, разбойникам! — говорил он про себя.

Алпатыч плывущим шагом, чтобы только не бежать, рысью едва догнал Ростова.

— Какое решение изволили принять? — сказал он, догнав его.

Ростов остановился и, сжав кулаки, вдруг грозно подвинулся на Алпатыча.

— Решенье? Какое решенье? Старый хрыч! — крикнул он на него. — Ты чего смотрел? А? Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас, шкуру спущу со всех... — И, как будто боясь растратить понапрасну запас своей горячности, он оставил Алпатыча и быстро пошел вперед. Алпатыч, подавив чувство оскорбления, плывущим шагом поспевал за Ростовым и продолжал сообщать ему свои соображения. Он говорил, что мужики находились в закоснелости, что в настоящую минуту было неблагоразумно *противуборствовать* им, не имея военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой.

— Я им дам воинскую команду... Я их попротивоборствую, — бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может произвести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо.

После того как гусары въехали в деревню и Ростов прошел к княжне, в толпе произошло замешательство и раздор. Некоторые мужики стали говорить, что эти приехавшие были русские и как бы они не обиделись тем, что не выпускают барышню. Дрон был того же мнения; но как только он выразил его, так Карп и другие мужики напали на бывшего старосту.

— Ты мир-то поедом ел сколько годов? — кричал на него Карп. — Тебе все одно! Ты кубышку выроешь, увезешь, тебе что, разори наши домà али нет?

— Сказано, порядок чтоб был, не езди никто из домов, чтобы ни синь пороха не вывозить, — вот она и вся! — кричал другой.

— Очередь на твоего сына была, а ты небось гладуха своего пожалел, — вдруг быстро заговорил маленький старичок, нападая на Дрона, — а моего Ваньку забрил. Эх, умирать будем!

— То-то умирать будем!

— Я от миру не отказчик, — говорил Дрон.

— То-то не отказчик, брюхо отрастил!..

Два длинные мужика говорили свое. Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным, Лаврушкой и Алпатычем, подошел к толпе, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон, напротив, зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее.

— Эй! кто у вас староста тут? — крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе.

— Староста-то? На что вам?.. — спросил Карп.

Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Ростова. — Где староста? — неистовым голосом кричал он.

— Старосту, старосту кличет... Дрон Захарыч, вас, — послышались кое-где торопливо-покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.

— Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, — проговорил Карп, и несколько голосов сзади в то же мгновенье заговорили вдруг:

— Как старички порешили, много вас начальства...

— Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! — бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за ворот Карпа. — Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.

Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.

— Прикажете наших из-под горы кликнуть? — крикнул он.

Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать Карпа. Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться.

— Староста где? — кричал Ростов.

Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы.

— Ты староста? Вязать, Лаврушка! — кричал Ростов, как будто и это приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать

Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушак и подал им.

— А вы все слушайте меня, — Ростов обратился к мужикам: — Сейчас марш по домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал.

— Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали... Я же сказывал, что непорядки, — послышались голоса, упрекавшие друг друга.

— Вот я же вам говорил, — сказал Алпатыч, вступая в свои права. — Нехорошо, ребята!

— Глупость наша, Яков Алпатыч, — отвечали голоса, и толпа тотчас же стала расходиться и рассыпаться по деревне.

Связанных двух мужиков повели на барский двор. Два пьяные мужика шли за ними.

— Эх, посмотрю я на тебя! — говорил один из них, обращаясь к Карпу.

— Разве можно так с господами говорить? Ты думал что?

— Дурак, — подтверждал другой, — право, дурак!

Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленно выносили и укладывали на подводы господские вещи, и Дрон, по желанию княжны Марьи выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, распоряжался мужиками.

— Ты ее так дурно не клади, — говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. — Она ведь тоже денег стоит. Что же ты ее так-то вот бросишь или под веревку — а она потрется. Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было. Вот так-то под рогожку, да сенцом прикрой, вот и важно. Любо!

— Ишь книг-то, книг, — сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. — Ты не цепляй! А грузно, ребята, книги здоровые!

— Да, писали, не гуляли! — значительно подмигнув, сказал высокий круглолицый мужик, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху.

Ростов, не желая навязывать свое знакомство княжне, не пошел к ней, а остался в деревне, ожидая ее выезда. Дождавшись выезда экипажей княжны Марьи из дома,

Ростов сел верхом и до пути, занятого нашими войсками, в двенадцати верстах от Богучарова, верхом провожал ее. В Янкове, на постоялом дворе, он простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку.

— Как вам не совестно, — краснея, отвечал он княжне Марье на выражение благодарности за ее спасенье (как она называла его поступок), — каждый становой сделал бы то же. Если бы нам только приходилось воевать с мужиками, мы бы не допустили так далеко неприятеля, — говорил он, стыдясь чего-то и стараясь переменить разговор. — Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна, желаю вам счастия и утешения и желаю встретиться с вами при более счастливых условиях. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.

Но княжна, если не благодарила более словами, благодарила его всем выражением своего сиявшего благодарностью и нежностью лица. Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее несомненно было то, что ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы погибнуть и от бунтовщиков и от французов; что *он*, для того чтобы спасти ее, подвергал себя самым очевидным и страшным опасностям; и еще несомненнее было то, что он был человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его добрые и честные глаза с выступившими на них слезами, в то время как она сама, заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения.

Когда она простилась с ним и осталась одна, княжна Марья вдруг почувствовала в глазах слезы, и тут уж не в первый раз ей представился странный вопрос, любит ли она его?

По дороге дальше к Москве, несмотря на то, что положение княжны было не радостно, Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему-то радостно и грустно улыбалась.

«Ну что же, ежели бы я и полюбила его?» — думала княжна Марья.

Как ни стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, любить того, которого она любила в первый и в последний раз.

Иногда она вспоминала его взгляды, его участие, его слова, и ей казалось счастье не невозможным. И тогда-то Дуняша замечала, что она, улыбаясь, глядела в окно кареты.

«И надо было ему приехать в Богучарово, и в эту самую минуту! — думала княжна Марья. — И надо было его сестре отказать князю Андрею!» — И во всем этом княжна Марья видела волю провиденья.

Впечатление, произведенное на Ростова княжной Марьей, было очень приятное. Когда он вспоминал про нее, ему становилось весело, и когда товарищи, узнав о бывшем с ним приключении в Богучарове, шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился. Он сердился именно потому, что мысль о женитьбе на приятной для него, кроткой княжне Марье с огромным состоянием не раз против его воли приходила ему в голову. Для себя лично Николай не мог желать жены лучше княжны Марьи: женитьба на ней сделала бы счастье графини — его матери, и поправила бы дела его отца; и даже — Николай чувствовал это — сделала бы счастье княжны Марьи.

Но Соня? И данное слово? И от этого-то Ростов сердился, когда ему шутили о княжне Болконской.

XV

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру.

Князь Андрей приехал в Царево-Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричавших «ура!» новому главнокомандующему. Тут же у ворот, шагах в десяти от князя Андрея, пользуясь отсутствием князя и прекрасной погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув

на князя Андрея, спросил: здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?

Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с той особенной презрительностью, с которой говорят денщики главнокомандующих с офицерами:

— Что, светлейший? Должно быть, сейчас будет. Вам что?

Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал ее вестовому и подошел к Болконскому, слегка поклонившись ему. Болконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил гусарский подполковник. — Говог'ят, всем доступен, слава богу. А то с колбасниками беда! Недаг'ом Ег'молов в немцы пг'осился. Тепег'ь авось и г'усским говог'ить можно будет. А то чег'т знает что делали. Все отступали, все отступали. Вы делали поход? — спросил он.

— Имел удовольствие, — отвечал князь Андрей, — не только участвовать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, не говоря об именьях и родном доме... отца, который умер с горя. Я смоленский.

— А?.. Вы князь Болконский? Очень г'ад познакомиться: подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, — сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского. — Да, я слышал, — сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал: — Вот и скифская война. Это все хог'ошо, только не для тех, кто своими боками отдувается. А вы — князь Андг'ей Болконский? — Он покачал головой. — Очень г'ад, князь, очень г'ад познакомиться, — прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.

Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе. Это воспоминанье и сладко и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые все-таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известие

о смерти отца, — столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, поэтическое прошедшее, когда он, после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешел к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения. Он начал разъяснять свой план князю Андрею.

— Они не могут удег'жать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что пг'ог'ву их; дайте мне пятьсот человек, я г'азог'ву их, это вег'но! Одна система — паг'тизанская.

Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Болконскому. В средине его изложения крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра. На деревне послышался топот и крики.

— Сам едет, — крикнул казак, стоявший у ворот, — едет!

Болконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла кучка солдат (почетный караул), и увидали подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромная свита генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом; толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «ура!».

Вперед его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью под его тяжестью, и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к белой кавалергардской (с красным околышем и без козырька) фуражке, которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча, внимательно посмотрел на них начальни-

ческим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение; он вздернул плечами с жестом недоумения.

— И с такими молодцами всё отступать и отступать! — сказал он. — Ну, до свиданья, генерал, — прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова.

— Ура! ура! ура! — кричали сзади его.

С тех пор как не видал его князь Андрей, Кутузов еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз, и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через плечо) и в белой кавалергардской фуражке. Он, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке.

— Фю... фю... фю... — засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его.

Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу.

— Фю... фю... фю, — просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд (как это часто бывает у стариков) связалось с воспоминанием о его личности.

— А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем... — устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце.

— Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине, — коротко сказал князь Андрей.

Кутузов испуганно-открытыми глазами посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился: «Царство ему небесное! Да будет воля божия над всеми нами!» Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал. «Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой». Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди

и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшие губы Кутузова дрожали и на глазах были слезы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать.

— Пойдем, пойдем ко мне, поговорим, — сказал он; но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошел на крыльцо. Кутузов, оставив руки упертыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов усталым взглядом стал смотреть на Денисова и досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил: «Для блага отечества? Ну что такое? Говори». Денисов покраснел, как девушка (так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался несомненно хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего-то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно во время речи Денисова показался генерал с портфелем под мышкой.

— Что? — в середине изложения Денисова проговорил Кутузов. — Уже готовы?

— Готов, ваша светлость, — сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.

— Даю честное благог'одное слово г'усского офицег'а, — говорил Денисов, — что я г'азог'ву сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер-интендант, как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя г'одной, ваша светлость.

— О! приятели были, — весело сказал Кутузов. — Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. — Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, — недовольным голосом сказал дежурный генерал, — необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. — Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился...

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, — сказал он. — Ты не уходи, — прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа главнокомандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома... «Очень хорошенькая», — прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве-Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотиче-

ское чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, относилось до мародерства русских войск. Дежурный генерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взыскании с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.

Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.

— В печку... в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, — сказал он, — все эти дела в огонь. Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят — щепки летят. — Он взглянул еще раз на бумагу. — О, аккуратность немецкая! — проговорил он, качая головой.

XVI

— Ну, теперь все, — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все-таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.

Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.

— Ну что, как живешь? — сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул.

Это были «Les chevaliers du Cygne», сочинение madame de Genlis [1], как увидал князь Андрей по обертке.

— Ну садись, садись тут, поговорим, — сказал Кутузов. — Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец... — Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.

— До чего... до чего довели! — проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. — Дай срок, дай срок, — прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: — Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.

— Благодарю вашу светлость, — отвечал князь Андрей, — но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. — А главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:

— Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню, с знаменем помню, — сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.

— Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести. — Он помолчал. — Я жалел о тебе в Бухареште: мне послать надо было. — И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заклю-

[1] «Рыцари Лебедя»... мадам де Жанлис.

ченном мире. — Да, немало упрекали меня, — сказал Кутузов, — и за войну и за мир... а все пришло вовремя. Tout vient à point à celui qui sait attendre [1]. А и там советчиков не меньше было, чем здесь... — продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. — Ох, советчики, советчики! — сказал он. Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно *терпение и время.* Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. — Он покачал головой. — И французы тоже будут! Верь моему слову, — воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, — будут у меня лошадиное мясо есть! — И опять глаза его залоснились слезами.

— Однако должно же будет принять сражение? — сказал князь Андрей.

— Должно будет, если все этого захотят, нечего делать... А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, *терпение и время;* те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voilà le mal [2]. Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? — спросил он, видимо, ожидая ответа. — Да, что ты велишь делать? — повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. — Я тебе скажу, что делать, — проговорил он, так как князь Андрей все-таки не отвечал. — Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, — он помолчал, — abstiens toi [3], — выговорил он с расстановкой.

— Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. — Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».

---

[1] Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
[2] этим ухом не слышат, — вот что плохо.
[3] В сомнении, мой милый, воздерживайся.

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, — думал князь Андрей, — но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, — это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, — думал князь Андрей, — почему веришь ему, — это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: «До чего довели!», и что он захлипал, говоря о том, что он «заставит их есть лошадиное мясо». На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.

XVII

После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно-патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму и казались неизбежны.

С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого, до тех пор пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, — второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год.

Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, *который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу,* читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина.

В клубе, в угловой комнате, собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от *капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет*. Некоторые не одобряли этого тона и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Растопчиным при их отправлении. Иностранцев отправляли на барке в Нижний, и Растопчин сказал им: «Rentrez en vous même, entrez dans la barque et n'en faites pas une barque de Charon» [1]. Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна

[1] Войдите сами в себя и в эту лодку и постарайтесь, чтобы эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.

Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости, — сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.

Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.

— Безухов est ridicule [1], но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique? [2]

— Штраф! — сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «mon chevalier» [3] и который с нею вместе ехал в Нижний.

В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований.

— Другой штраф за галлицизм, — сказал русский писатель, бывший в гостиной. — «Удовольствие быть» — не по-русски.

— Вы никому не делаете милости, — продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. — За caustique виновата, — сказала она, — и плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить; за галлицизмы не отвечаю, — обратилась она к сочинителю: — у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски. А, вот и он, — сказала Жюли. — Quand on... [4] Нет, нет, — обратилась она к ополченцу, — не поймаете. Когда говорят про солнце — видят его лучи, — сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. — Мы только говорили о вас, — с свойственной светским женщинам свободой лжи сказала Жюли. — Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского.

— Ах, не говорите мне про мой полк, — отвечал Пьер, целуя руку хозяйки и садясь подле нее. — Он мне так надоел!

---

[1] смешон.
[2] злоязычным?
[3] мой рыцарь.
[4] Когда... — *Ред.*

— Вы ведь, верно, сами будете командовать им? — сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем.

Ополченец в присутствии Пьера был уже не так caustique, и в лице его выразилось недоуменье к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии.

— Нет, — смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое, толстое тело. — В меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь...

В числе перебираемых лиц для предмета разговора общество Жюли попало на Ростовых.

— Очень, говорят, плохи дела их, — сказала Жюли. — И он так бестолков — сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется. Он дорожится.

— Нет, кажется, на днях состоится продажа, — сказал кто-то. — Хотя теперь и безумно покупать что-нибудь в Москве.

— Отчего? — сказала Жюли. — Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы?

— Отчего же вы едете?

— Я? Вот странно. Я еду, потому... ну потому, что все едут, и потом я не Иоанна д'Арк и не амазонка.

— Ну, да, да, дайте мне еще тряпочек.

— Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги, — продолжал ополченец про Ростова.

— Добрый старик, но очень pauvre sire [1]. И зачем они живут тут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь? — хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера.

— Они ждут меньшого сына, — сказал Пьер. — Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую Церковь. Там формируется полк. А теперь они перевели его в мой полк и ждут каждый день. Граф давно хотел ехать, но графиня ни за что не согласна выехать из Москвы, пока не приедет сын.

— Я их третьего дня видела у Архаровых. Натали опять похорошела и повеселела. Она пела один романс. Как все легко проходит у некоторых людей!

— Что проходит? — недовольно спросил Пьер. Жюли улыбнулась.

---

[1] плох.

— Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах madame Suza.

— Какой рыцарь? Отчего? — краснея, спросил Пьер.

— Ну, полноте, милый граф, c'est la fable de tout Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur [1].

— Штраф! Штраф! — сказал ополченец.

— Ну, хорошо. Нельзя говорить, как скучно!

— Qu'est ce est la fable de tout Moscou? [2] — вставая, сказал сердито Пьер.

— Полноте, граф. Вы знаете!

— Ничего не знаю, — сказал Пьер.

— Я знаю, что вы дружны были с Натали, и потому... Нет, я всегда дружнее с Верой. Cette chère Véra! [3]

— Non, madame [4], — продолжал Пьер недовольным тоном. — Я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость...

— Qui s'excuse — s'accuse [5], — улыбаясь и махая корпией, говорила Жюли и, чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. — Каково, я нынче узнала: бедная Мари Болконская приехала вчера в Москву. Вы слышали, она потеряла отца?

— Неужели! Где она? Я бы очень желал увидать ее, — сказал Пьер.

— Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром едет в подмосковную с племянником.

— Ну что она, как? — сказал Пьер.

— Ничего, грустна. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. Nicolas Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее...

— Еще роман, — сказал ополченец. — Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Catiche — одна, княжна Болконская — другая.

— Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune homme [6].

— Штраф! Штраф! Штраф!

— Но как же это по-русски сказать?..

---

[1] это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь.
[2] Что знает вся Москва?
[3] Эта милая Вера!
[4] Нет, сударыня.
[5] Кто извиняется, тот обвиняет себя.
[6] немножечко влюблена в молодого человека.

XVIII

Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.

В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы, — несправедлив и что, напротив, граф Растопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей, — говорилось в афише, — но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве. Во второй афише говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгенштейн победил французов, но что так как многие жители желают вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие: сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получать по дешевой цене. Тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних чигиринских разговорах. Пьер задумался над этими афишами. Очевидно, та страшная грозовая туча, которую он призывал всеми силами своей души и которая вместе с тем возбуждала в нем невольный ужас, — очевидно, туча эта приближалась.

«Поступить в военную службу и ехать в армию или дожидаться?» — в сотый раз задавал себе Пьер этот вопрос. Он взял колоду карт, лежавших у него на столе, и стал делать пасьянс.

— Ежели выйдет этот пасьянс, — говорил он сам себе, смешав колоду, держа ее в руке и глядя вверх, — ежели выйдет, то значит... что значит?.. — Он не успел решить, что значит, как за дверью кабинета послышался голос старшей княжны, спрашивающей, можно ли войти.

— Тогда будет значить, что я должен ехать в армию, — договорил себе Пьер. — Войдите, войдите, — прибавил он, обращаясь к княжне.

(Одна старшая княжна, с длинной талией и окаменелым лицом, продолжала жить в доме Пьера; две меньшие вышли замуж.)

— Простите, mon cousin, что я пришла к вам, — сказала она укоризненно-взволнованным голосом. — Ведь надо наконец на что-нибудь решиться! Что ж это будет такое? Все выехали из Москвы, и народ бунтует. Что ж мы остаемся?

— Напротив, все, кажется, благополучно, ma cousine, — сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую

Пьер, всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к ней.

— Да, это благополучно... хорошо благополучие! Мне нынче Варвара Ивановна порассказала, как войска наши отличаются. Уж точно можно чести приписать. Да и народ совсем взбунтовался, слушать перестают; девка моя и та грубить стала. Этак скоро и нас бить станут. По улицам ходить нельзя. А главное, нынче-завтра французы будут, что ж нам ждать! Я об одном прошу, mon cousin, — сказала княжна, — прикажите свезти меня в Петербург: какая я ни есть, а я под бонапартовской властью жить не могу.

— Да полноте, ma cousine, откуда вы почерпаете ваши сведения? Напротив...

— Я вашему Наполеону не покорюсь. Другие как хотят... Ежели вы не хотите этого сделать...

— Да я сделаю, я сейчас прикажу.

Княжне, видимо, досадно было, что не на кого было сердиться. Она, что-то шепча, присела на стул.

— Но вам это неправильно доносят, — сказал Пьер. — В городе все тихо, и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал... — Пьер показал княжне афишки. — Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве.

— Ах, этот ваш граф, — с злобой заговорила княжна, — это лицемер, злодей, который сам настроил народ бунтовать. Разве не он писал в этих дурацких афишах, что какой бы там ни был, тащи его за хохол на съезжую (и как глупо)! Кто возьмет, говорит, тому и честь и слава. Вот и долюбезничался. Варвара Ивановна говорила, что чуть не убил народ ее за то, что она по-французски заговорила...

— Да ведь это так... Вы всё к сердцу очень принимаете, — сказал Пьер и стал раскладывать пасьянс.

Несмотря на то, что пасьянс сошелся, Пьер не поехал в армию, а остался в опустевшей Москве, все в той же тревоге, нерешимости, в страхе и вместе в радости ожидая чего-то ужасного.

На другой день княжна к вечеру уехала, и к Пьеру приехал его главноуправляющий с известием, что требуемых им денег для обмундирования полка нельзя достать, ежели не продать одно имение. Главноуправляющий вообще представлял Пьеру, что все эти затеи полка должны

были разорить его. Пьер с трудом скрывал улыбку, слушая слова управляющего.

— Ну, продайте, — говорил он. — Что ж делать, я не могу отказаться теперь!

Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дело, тем Пьеру было приятнее, тем очевиднее было, что катастрофа, которой он ждал, приближается. Уже никого почти из знакомых Пьера не было в городе. Жюли уехала, княжна Марья уехала. Из близких знакомых одни Ростовы оставались; но к ним Пьер не ездил.

В этот день Пьер, для того чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага, и пробный шар, который должен был быть пущен завтра. Шар этот был еще не готов; но, как узнал Пьер, он строился по желанию государя. Государь писал графу Растопчину об этом шаре следующее:

«Aussitôt que Leppich sera prêt, composez lui un équipage pour sa nacelle d'hommes sûrs et intelligents et dépêchez un courrier au général Koutousoff pour l'en prévenir. Je l'ai instruit de la chose.

Recommandez, je vous prie, à Leppich d'être bien attentif sur l'endroit où il descendra la première fois, pour ne pas se tromper et ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Il est indispensable qu'il combine ses mouvements aves le général-en-chef» [1].

Возвращаясь домой из Воронцова и проезжая по Болотной площади, Пьер увидал толпу у Лобного места, остановился и слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара, обвиненного в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека с рыжими бакенбардами, в синих чулках и зеленом камзоле. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же. Оба, судя по лицам, были французы. С испуганно-болезненным видом, подобным тому, который имел худой француз, Пьер протолкался сквозь толпу.

---

[1] Только что Леппих будет готов, составьте экипаж для его лодки из верных и умных людей и пошлите курьера к генералу Кутузову, чтобы предупредить его. Я сообщил ему об этом. Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он обратил хорошенько внимание на то место, где он спустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки врага. Необходимо, чтоб он соображал свои движения с движениями главнокомандующего.

— Что это? Кто? За что? — спрашивал он. Но вниманье толпы — чиновников, мещан, купцов, мужиков, женщин в салопах и шубках — так было жадно сосредоточено на то, что происходило на Лобном месте, что никто не отвечал ему. Толстый человек поднялся, нахмурившись, пожал плечами и, очевидно, желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг себя, надевать камзол; но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди. Толпа громко заговорила, как показалось Пьеру, — для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости.

— Повар чей-то княжеский...

— Что, мусью, видно, русский соус кисел французу пришелся... оскомину набил, — сказал сморщенный приказный, стоявший подле Пьера, в то время как француз заплакал. Приказный оглянулся вокруг себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Некоторые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на палача, который раздевал другого.

Пьер засопел носом, сморщился и, быстро повернувшись, пошел назад к дрожкам, не переставая что-то бормотать про себя в то время, как он шел и садился. В продолжение дороги он несколько раз вздрагивал и вскрикивал так громко, что кучер спрашивал его:

— Что прикажете?

— Куда ж ты едешь? — крикнул Пьер на кучера, выезжавшего на Лубянку.

— К главнокомандующему приказали, — отвечал кучер.

— Дурак! скотина! — закричал Пьер, что редко с ним случалось, ругая своего кучера. — Домой я велел; и скорее ступай, болван. Еще нынче надо выехать, — про себя проговорил Пьер.

Пьер при виде наказанного француза и толпы, окружавшей Лобное место, так окончательно решил, что не может долее оставаться в Москве и едет нынче же в армию, что ему казалось, что он или сказал об этом кучеру, или что кучер сам должен был знать это.

Приехав домой, Пьер отдал приказание своему все знающему, все умеющему, известному всей Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск к войску и чтобы туда были высланы его верховые лошади. Все это не могло быть сделано в тот же день, и потому, по представлению Евстафьевича, Пьер должен

был отложить свой отъезд до другого дня, с тем чтобы дать время подставам выехать на дорогу.

24-го числа прояснело после дурной погоды, и в этот день после обеда Пьер выехал из Москвы. Ночью, переменя лошадей в Перхушкове, Пьер узнал, что в этот вечер было большое сражение. Рассказывали, что здесь, в Перхушкове, земля дрожала от выстрелов. На вопросы Пьера о том, кто победил, никто не мог дать ему ответа. (Это было сражение 24-го числа при Шевардине.) На рассвете Пьер подъезжал к Можайску.

Все дома Можайска были заняты постоем войск, и на постоялом дворе, на котором Пьера встретили его берейтор и кучер, в горницах не было места: все было полно офицерами.

В Можайске и за Можайском везде стояли и шли войска. Казаки, пешие, конные солдаты, фуры, ящики, пушки виднелись со всех сторон. Пьер торопился скорее ехать вперед, и чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевала тревога беспокойства и не испытанное еще им новое радостное чувство. Это было чувство, подобное тому, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, — чувство необходимости предпринять что-то и пожертвовать чем-то. Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то... С чем, Пьер не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать всем. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство.

XIX

24-го было сражение при Шевардинском редуте, 25-го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26-го произошло Бородинское сражение.

Для чего и как были даны и приняты сражения при Шевардине и при Бородине? Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим

было и должно было быть — для русских то, что мы приблизились к погибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире), а для французов то, что они приблизились к погибели всей армии (чего они тоже боялись больше всего в мире). Результат этот был тогда же совершенно очевиден, а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение.

Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, казалось, как ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за две тысячи верст и принимая сражение с вероятной случайностью потери четверти армии, он шел на верную погибель; и столь же ясно бы должно было казаться Кутузову, что, принимая сражение и тоже рискуя потерять четверть армии, он наверное теряет Москву. Для Кутузова это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше одной шашкой и я буду меняться, я наверное проиграю и потому не должен меняться.

Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я только на одну восьмую слабее его; а когда я поменяюсь тринадцатью шашками, то он будет втрое сильнее меня.

До Бородинского сражения наши силы приблизительно относились к французским как пять к шести, а после сражения как один к двум, то есть до сражения сто тысяч к ста двадцати, а после сражения пятьдесят к ста. А вместе с тем умный и опытный Кутузов принял сражение. Наполеон же, гениальный полководец, как его называют, дал сражение, теряя четверть армии и еще более растягивая свою линию. Ежели скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Смоленска он хотел остановиться, знал опасность своего растянутого положения и знал, что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от Смоленска он видел, в каком положении оставлялись ему русские города, и не получал ни одного ответа на свои неоднократные заявления о желании вести переговоры.

Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных

орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями.

Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы всё еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.

На другой вопрос: как даны были Бородинское и предшествующее ему Шевардинское сражения — существует точно так же весьма определенное и всем известное, совершенно ложное представление. Все историки описывают дело следующим образом:

Русская армия будто бы в отступлении своем от Смоленска отыскивала себе наилучшую позицию для генерального сражения, и таковая позиция была найдена будто бы у Бородина.

Русские будто бы укрепили вперед эту позицию, влево от дороги (из Москвы в Смоленск), под прямым почти углом к ней, от Бородина к Утице, на том самом месте, где произошло сражение.

Впереди этой позиции будто бы был выставлен для наблюдения за неприятелем укрепленный передовой пост на Шевардинском кургане. 24-го будто бы Наполеон атаковал передовой пост и взял его; 26-го же атаковал всю русскую армию, стоявшую на позиции на Бородинском поле.

Так говорится в историях, и все это совершенно несправедливо, в чем легко убедится всякий, кто захочет вникнуть в сущность дела.

Русские не отыскивали лучшей позиции; а, напротив, в отступлении своем прошли много позиций, которые были лучше Бородинской. Они не остановились ни на одной из этих позиций: и потому, что Кутузов не хотел принять позицию, избранную не им, и потому, что требованье народного сражения еще недостаточно сильно высказалось, и потому, что не подошел еще Милорадович с ополчением, и еще по другим причинам, которые неисчислимы. Факт тот — что прежние позиции были сильнее и что Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не только не сильна, но вовсе не есть почему-нибудь позиция более, чем всякое другое место в Российской империи, на которое, гадая, указать бы булавкой на карте.

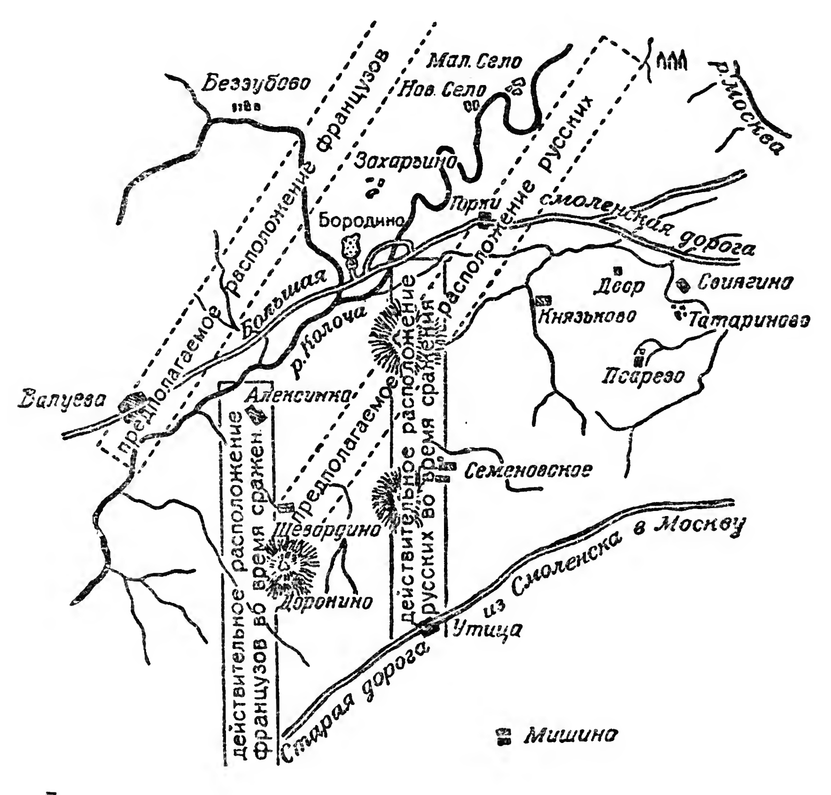
Русские не только не укрепляли позицию Бородинского поля влево под прямым углом от дороги (то есть

места, на котором произошло сражение), но и никогда до 25-го августа 1812 года не думали о том, чтобы сражение могло произойти на этом месте. Этому служит доказательством, во-первых, то, что не только 25-го не было на этом месте укреплений, но что, начатые 25-го числа, они не были кончены и 26-го; во-вторых, доказательством служит положение Шевардинского редута: Шевардинский редут, впереди той позиции, на которой принято сражение, не имеет никакого смысла. Для чего был сильнее всех других пунктов укреплен этот редут? И для чего, защищая его 24-го числа до поздней ночи, были истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек? Для наблюдения за неприятелем достаточно было казачьего разъезда. В-третьих, доказательством того, что позиция, на которой произошло сражение, не была предвидена и что Шевардинский редут не был передовым пунктом этой позиции, служит то, что Барклай де Толли и Багратион до 25-го числа находились в убеждении, что Шевардинский редут есть *левый* фланг позиции и что сам Кутузов в донесении своем, писанном сгоряча после сражения, называет Шевардинский редут *левым* флангом позиции. Уже гораздо после, когда писались на просторе донесения о Бородинском сражении, было (вероятно, для оправдания ошибок главнокомандующего, имеющего быть непогрешимым) выдумано то несправедливое и странное показание, будто Шевардинский редут служил *передовым* постом (тогда как это был только укрепленный пункт левого фланга) и будто Бородинское сражение было принято нами на укрепленной и наперед избранной позиции, тогда как оно произошло на совершенно неожиданном и почти не укрепленном месте.

Дело же, очевидно, было так: позиция была избрана по реке Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом, так что левый фланг был в Шевардине, правый около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Колочи и Войны. Позиция эта, под прикрытием реки Колочи, для армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по Смоленской дороге к Москве, очевидна для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.

Наполеон, выехав 24-го к Валуеву, не увидал (как говорится в историях) позицию русских от Утицы к Бородину (он не мог увидать эту позицию, потому что ее

не было) и не увидал передового поста русской армии, а наткнулся в преследовании русского арьергарда на левый фланг позиции русских, на Шевардинский редут, и неожиданно для русских перевел войска через Колочу. И русские, не успев вступить в генеральное сражение, отступили своим левым крылом из позиции, которую они намеревались занять, и заняли новую позицию, которая была не предвидена и не укреплена. Перейдя на левую сторону Колочи, влево от дороги, Наполеон передвинул все будущее сражение справа налево (со стороны русских) и перенес его в поле между Утицей, Семеновским и Бородиным (в это поле, не имеющее в себе ничего более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России), и на этом поле произошло все сражение 26-го числа. В грубой форме план предполагаемого сражения и происшедшего сражения будет следующий:



Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24-го числа на Колочу и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевардинский редут был левый фланг нашей позиции; и сражение произошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероятно, еще упорнее бы защищали Шевардинский редут, наш левый фланг; атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24-го произошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг произошла вечером, вслед за отступлением нашего арьергарда, то есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как русские военачальники не хотели или не успели начать тогда же 24-го вечером генерального сражения, то первое и главное действие Бородинского сражения было проиграно еще 24-го числа и, очевидно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26-го числа.

После потери Шевардинского редута к утру 25-го числа мы оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его где ни попало.

Но мало того, что 26-го августа русские войска стояли только под защитой слабых, неконченных укреплений, — невыгода этого положения увеличилась еще тем, что русские военачальники, не признав вполне совершившегося факта (потери позиции на левом фланге и перенесения всего будущего поля сражения справа налево), оставались в своей растянутой позиции от села Нового до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все время сражения русские имели против всей французской армии, направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. (Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия.)

Итак, Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его. Бородинское сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не

укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.

XX

25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.

Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненые колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.

Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера.

— Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? — сказал он.

Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь

с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера; третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы-песельники проходили над самой телегой.

— Ах запропала... да ежова голова...

— Да на чужой стороне живучи... — выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.

Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников-кавалеристов.

— Ох, щегольки! — проговорил он укоризненно.

— Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. — Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят. — Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.

Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.

Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.

Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Граф! Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот хотелось посмотреть...

— Да, да, будет что посмотреть...

Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.

Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.

— Что же вам бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, — сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, — а светлейший все-таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте, — сказал доктор.

Доктор казался усталым и спешащим.

— Так вы думаете... А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? — сказал Пьер.

— Позиция? — сказал доктор. — Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, — сказал доктор.

— И видно оттуда?.. Ежели бы вы...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, да, ей-богу, — вот (доктор показал на горло) скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение: на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), — поразила Пьера.

«Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?» И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.

«Кавалеристы идут на сраженье, и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!» — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.

У помещичьего дома, на левой стороне дороги, стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.

Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою.

Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.

Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно, забавляющихся еще своим новым, военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что *всем народом навалиться хотят*. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.

XXI

Пьер вышел из экипажа и мимо работающих ополченцев взошел на тот курган, с которого, как сказал ему доктор, было видно поле сражения.

Было часов одиннадцать утра. Солнце стояло несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый, редкий воздух огромную, амфитеатром по поднимающейся местности открывшуюся перед ним панораму.

Вверх и влево по этому амфитеатру, разрезывая его, вилась большая Смоленская дорога, шедшая через село с белой церковью, лежавшее в пятистах шагах впереди кургана и ниже его (это было Бородино). Дорога переходила под деревней через мост и через спуски и подъемы вилась все выше и выше к видневшемуся верст за шесть селению Валуеву (в нем стоял теперь Наполеон). За Валуевым дорога скрывалась в желтевшем лесу на гори-

зонте. В лесу этом, березовом и еловом, вправо от направления дороги, блестел на солнце дальний крест и колокольня Колоцкого монастыря. По всей этой синей дали, вправо и влево от леса и дороги, в разных местах виднелись дымящиеся костры и неопределенные массы войск наших и неприятельских. Направо, по течению рек Колочи и Москвы, местность была ущелиста и гориста. Между ущельями их вдали виднелись деревни Беззубово, Захарьино. Налево местность была ровнее, были поля с хлебом, и виднелась одна дымящаяся, сожженная деревня — Семеновская.

Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно, что ни левая, ни правая сторона поля не удовлетворяла вполне его представлению. Везде было не поле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы костров, деревни, курганы, ручьи; и сколько ни разбирал Пьер, он в этой живой местности не мог найти позиции и не мог даже отличить наших войск от неприятельских.

«Надо спросить у знающего», — подумал он и обратился к офицеру, с любопытством смотревшему на его невоенную огромную фигуру.

— Позвольте спросить, — обратился Пьер к офицеру, — это какая деревня впереди?

— Бурдино или как? — сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу.

— Бородино, — поправляя, отвечал другой.

Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, подвинулся к Пьеру.

— Там наши? — спросил Пьер.

— Да, а вон подальше и французы, — сказал офицер. — Вон они, вон видны.

— Где? где? — спросил Пьер.

— Простым глазом видно. Да вот, вот! — Офицер показал рукой на дымы, видневшиеся влево за рекой, и на лице его показалось то строгое и серьезное выражение, которое Пьер видел на многих лицах, встречавшихся ему.

— Ах, это французы! А там?.. — Пьер показал влево на курган, около которого виднелись войска.

— Это наши.

— Ах, наши! А там?.. — Пьер показал на другой далекий курган с большим деревом, подле деревни, видневшейся в ущелье, у которой тоже дымились костры и чернелось что-то.

— Это опять *он*, — сказал офицер. (Это был Шевардинский редут.) — Вчера было наше, а теперь *его*.

— Так как же наша позиция?

— Позиция? — сказал офицер с улыбкой удовольствия. — Я это могу рассказать вам ясно, потому что я почти все укрепления наши строил. Вот, видите ли, центр наш в Бородине, вот тут. — Он указал на деревню с белой церковью, бывшей впереди. — Тут переправа через Колочу. Вот тут, видите, где еще в низочке ряды скошенного сена лежат, вот тут и мост. Это наш центр. Правый фланг наш вот где (он указал круто направо, далеко в ущелье), там Москва-река, и там мы три редута построили очень сильные. Левый фланг... — и тут офицер остановился. — Видите ли, это трудно вам объяснить... Вчера левый фланг наш был вот там, в Шевардине, вон, видите, где дуб; а теперь мы отнесли назад левое крыло, теперь вон, вон — видите деревню и дым? — это Семеновское, да вот здесь, — он указал на курган Раевского. — Только вряд ли будет тут сраженье. Что *он* перевел сюда войска, это обман; *он*, верно, обойдет справа от Москвы. Ну, да где бы ни было, многих завтра не досчитаемся! — сказал офицер.

Старый унтер-офицер, подошедший к офицеру во время его рассказа, молча ожидал конца речи своего начальника; но в этом месте он, очевидно, недовольный словами офицера, перебил его.

— За турами ехать надо, — сказал он строго.

Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно думать о том, сколь многих не досчитаются завтра, но не следует говорить об этом.

— Ну да, посылай третью роту опять, — поспешно сказал офицер.

— А вы кто же, не из докторов?

— Нет, я так, — отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев.

— Ах, проклятые! — проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих.

— Вон они!.. Несут, идут... Вон они... сейчас войдут... — послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.

Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.

Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..

— Смоленскую матушку, — поправил другой.

Ополченцы — и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, — побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.

Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, немец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на них: все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», — на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям.

Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто-то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.

Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре.

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться.

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы.

XXII

Покачиваясь от давки, охватившей его, Пьер оглядывался вокруг себя.

— Граф, Петр Кирилыч! Вы как здесь? — сказал чей-то голос. Пьер оглянулся.

Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал (вероятно, тоже прикладываясь к иконе), улыбаясь подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно, с оттенком походной воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через плечо, так же, как у Кутузова.

Кутузов между тем подошел к деревне и сел в тени ближайшего дома на лавку, которую бегом принес один

казак, а другой поспешно покрыл ковриком. Огромная блестящая свита окружила главнокомандующего.

Икона тронулась дальше, сопутствуемая толпой. Пьер шагах в тридцати от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом.

Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию.

— Вот как сделайте, — сказал Борис. — Je vous ferai les honneurs du camp[1]. Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенигсен. Я ведь при нем состою. Я ему доложу. А если хотите объехать позицию, то поедемте с нами: мы сейчас едем на левый фланг. А потом вернемся, и милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеичем? Он вот тут стоит, — он указал третий дом в Горках.

— Но мне бы хотелось видеть правый фланг; говорят, он очень силен, — сказал Пьер. — Я бы хотел проехать от Москвы-реки и всю позицию.

— Ну, это после можете, а главный — левый фланг...

— Да, да. А где полк князя Болконского, не можете вы указать мне? — спросил Пьер.

— Андрея Николаевича? мы мимо проедем, я вас проведу к нему.

— Что ж левый фланг? — спросил Пьер.

— По правде вам сказать, entre nous[2], левый фланг наш бог знает в каком положении, — сказал Борис, доверчиво понижая голос, — граф Бенигсен совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так... но, — Борис пожал плечами. — Светлейший не захотел, или ему наговорили. Ведь... — И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. — А! Паисий Сергеич, — сказал Борис, с свободной улыбкой обращаясь к Кайсарову. — А я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов!

— Вы про левый фланг? — сказал Кайсаров.

— Да, да, именно. Левый фланг наш теперь очень, очень силен.

Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым,

---

[1] Я вас буду угощать лагерем.

[2] между нами.

сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенигсену. Граф Бенигсен, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком.

В начальствовании армией были две резкие, определенные партии: партия Кутузова и партия Бенигсена, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто так, как он, не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плох и что все дело ведется Бенигсеном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова и передать власть Бенигсену, или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бенигсеном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди. И вследствие этого Борис находился в раздраженном оживлении весь этот день.

За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога. Но Пьеру казалось, что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.

— Позовите его ко мне, — сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке. Но еще прежде него к Кутузову подошел рядовой ополченец. Это был Долохов.

— Этот как тут? — спросил Пьер.

— Это такая бестия, везде пролезет! — отвечали Пьеру. — Ведь он разжалован. Теперь ему выскочить надо. Какие-то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью лазил... но молодец!..

Пьер, сняв шляпу, почтительно наклонился перед Кутузовым.

— Я решил, что, ежели я доложу вашей светлости, вы можете прогнать меня или сказать, что вам известно

то, что я докладываю, и тогда меня не убудет... — говорил Долохов.

— Так, так.

— А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так... так...

— И ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне... Может быть, я пригожусь вашей светлости.

— Так... так... — повторил Кутузов, смеющимся, суживающимся глазом глядя на Пьера.

В это время Борис, с своей придворной ловкостью, выдвинулся рядом с Пьером в близость начальства и с самым естественным видом и не громко, как бы продолжая начатый разговор, сказал Пьеру:

— Ополченцы — те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!

Борис сказал это Пьеру, очевидно, для того, чтобы быть услышанным светлейшим. Он знал, что Кутузов обратит внимание на эти слова, и действительно светлейший обратился к нему.

— Ты что говоришь про ополченье? — сказал он Борису.

— Они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти, надели белые рубахи.

— А!.. Чудесный, бесподобный народ! — сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. — Бесподобный народ! — повторил он со вздохом.

— Хотите пороху понюхать? — сказал он Пьеру. — Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем супруги вашей, здорова она? Мой привал к вашим услугам. — И, как это часто бывает с старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.

Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеича Кайсарова, брата своего адъютанта.

— Как, как, как стихи-то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: «Будешь в корпусе учитель...» Скажи, скажи, — заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел... Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов.

Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку.

— Очень рад встретить вас здесь, граф, — сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью. — Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня.

Пьер, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера.

Борис что-то сказал своему генералу, и граф Бенигсен обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии.

— Вам это будет интересно,— сказал он.

— Да, очень интересно, — сказал Пьер.

Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и Бенигсен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии.

XXIII

Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.

Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши [1], тоже тогда еще копаемые.

---

[1] род укрепления. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.

Бенигсен обратился к подошедшему к нему генералу и стал пояснять все положение наших войск. Пьер слушал слова Бенигсена, напрягая все свои умственные силы к тому, чтоб понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его для этого были недостаточны. Он ничего не понимал. Бенигсен перестал говорить и, заметив фигуру прислушивавшегося Пьера, сказал вдруг, обращаясь к нему:

— Вам, я думаю, неинтересно?

— Ах, напротив, очень интересно, — повторил Пьер не совсем правдиво.

С флеш они поехали еще левее дорогою, вьющеюся по частому, невысокому березовому лесу. В середине этого леса выскочил перед ними на дорогу коричневый с белыми ногами заяц и, испуганный топотом большого количества лошадей, так растерялся, что долго прыгал по дороге впереди их, возбуждая общее внимание и смех, и, только когда в несколько голосов крикнули на него, бросился в сторону и скрылся в чаще. Проехав версты две по лесу, они выехали на поляну, на которой стояли войска корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг.

Здесь, на крайнем левом фланге, Бенигсен много и горячо говорил и сделал, как казалось Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположения войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бенигсен громко критиковал эту ошибку, говоря, что было безумно оставить незанятою командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один в особенности с воинской горячностью говорил о том, что их поставили тут на убой. Бенигсен приказал своим именем передвинуть войска на высоту.

Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное

дело. Слушая Бенигсена и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение; но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку.

Пьер не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бенигсен, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бенигсен не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом главнокомандующему.

XXIV

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров — солдатских кухонь.

Как ни тесна и никому не нужна и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.

Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без

стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня — ясной мысли о смерти. — Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он. — Как же! я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще... Все это ужасно просто, гадко!

Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет — и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».

Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было... чтобы все это было, а меня бы не было». Он живо

представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров — все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.

За сараем послышались голоса.

— Кто там? — окликнул князь Андрей.

Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.

Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и сбирался отпустить их, когда из-за сарая послышался знакомый, пришепетывающий голос.

— Que diable! [1] — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то.

Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жердь и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.

— А, вот как! — сказал он. — Какими судьбами? Вот не ждал.

В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем сухость — была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.

— Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно, — сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». — Я хотел видеть сражение.

— Да, да, а братья-масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал князь Андрей насмешливо. — Ну что Москва? Что мои? Приехали ли наконец в Москву? — спросил он серьезно.

— Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную.

---

[1] Черт возьми!

XXV

Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.

— Так ты понял все расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как? — сказал Пьер. — Как невоенный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit [1], — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Пьер с недоуменьем, через очки глядя на князя Андрея. — Ну, как вы скажете насчет назначения Кутузова? — сказал он.

— Я очень рад был этому назначению, вот все, что я знаю, — сказал князь Андрей.

— Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая де Толли? В Москве бог знает что говорили про него. Как вы судите о нем?

— Спроси вот у них, — сказал князь Андрей, указывая на офицеров.

Пьер с снисходительно вопросительной улыбкой, с которой невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.

— Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил, — робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира сказал Тимохин.

— Отчего же так? — спросил Пьер.

— Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что. Ведь мы уходим, *ему* достается, не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю, — а ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлей-

[1] Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

ший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали...

— Так отчего же он запрещал?

Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.

— А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно: нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятерял наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он все обдумал; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он все обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нарекания, из изменников сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец...

— Однако, говорят, он искусный полководец, — сказал Пьер.

— Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, — с насмешкой сказал князь Андрей.

— Искусный полководец, — сказал Пьер, — ну, тот, который предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника.

— Да это невозможно, — сказал князь Андрей, как будто про давно решенное дело.

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— Однако, — сказал он, — ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.

— Да, — сказал князь Андрей, — только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с той разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, — сказал он, — что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них... Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.

Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.

— Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, — и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли — ну так бежать!» — мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, бог знает что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — все это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается

теперь, — все это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.

— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.

— В *такую минуту,* — повторил князь Андрей, — для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти двести тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!

— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин. — Что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят. — Все помолчали.

Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицем, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:

— Der Krieg muß im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben [1], — говорил один.

— O ja, — сказал другой голос, — da der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiß nicht den Verlust der Privatpersonen in Achtung nehmen [2].

— O ja [3], — подтвердил первый голос.

— Да, im Raum verlegen [4], — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum [5]-то

---

[1] Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить *(нем.).*

[2] О да, так как цель состоит в том, чтобы ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц *(нем.).*

[3] О да *(нем.).*

[4] перенести в пространство *(нем.).*

[5] В пространстве *(нем.).*

у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно. Вот оно то, что я тебе говорил, — эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, — то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали *ему* и приехали нас учить — славные учители! — опять взвизгнул его голос.

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами!

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так

далее. Все вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство: нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего — убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями...

Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить:

— Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда сто́ит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей... Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то — это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают бо́льшую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким,

пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! — прибавил он. — Однако ты спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, — вдруг сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, — повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. — Прощай, ступай, — прокричал он. — Увидимся ли, нет... — и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай.

Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно.

Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. «Нет, ему не нужно! — решил сам собой Пьер, — и я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки.

Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать.

Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и, всякую минуту прерываясь в своем рассказе, говорила: «Нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», — несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал все, что она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, — она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу... и такие добрые у него... нет, я не умею рассказать», — говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее, — думал князь Андрей. — Не только понимал, но эту-то душевную силу,

эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил...» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. «*Ему* ничего этого не нужно было. *Он* ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и *свеженькую* девочку, с которою он не удостоил связать свою судьбу. А я? И до сих пор он жив и весел».

Князь Андрей, как будто кто-нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.

XXVI

25-го августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов m-r de Beausset и полковник Fabvier приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева.

Переодевшись в придворный мундир, m-r de Beausset приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика.

Fabvier, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами, у входа в нее.

Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие: «Allez ferme, allez toujours...» [1] — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери,

[1] Ну, еще крепче...

ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул исподлобья на адъютанта.

— Point de prisonniers, — повторил он слова адъютанта. — Il se font démolir. Tant pis pour l'armée russe, — сказал он. — Allez toujours, allez ferme [1], — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи.

— C'est bien! Faites entrer monsieur de Beausset, ainsi que Fabvier [2], — сказал он адъютанту, кивнув головой.

— Oui, Sire [3], — и адъютант исчез в дверь палатки.

Два камердинера быстро одели его величество, и он, в гвардейском синем мундире, твердыми, быстрыми шагами вышел в приемную.

Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях, прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприза.

Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье ему о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как будто он не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие.

— Я должен поправить это в Москве, — сказал Наполеон. — A tantôt [4], — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях, и накрыл что-то покрывалом.

Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, и подошел, подавая конверт.

---

[1] Нет пленных. Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии. Ну еще, ну крепче...
[2] Хорошо! Пускай войдет де Боссе, и Фабвье тоже.
[3] Слушаю, государь.
[4] До свиданья.

Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо.

— Вы поспешили, очень рад. Ну, что говорит Париж? — сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое.

— Sire, tout Paris regrette votre absence [1], — как и должно, ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо.

— Je suis fâché de vous avoir fait taire tant de chemin [2], — сказал он.

— Sire! Je ne m'attendais pas à moins qu'à vous trouver aux portes de Moscou [3], — сказал Боссе.

Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее.

— Да, хорошо случилось для вас, — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу, — вы любите путешествовать, через три дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу. Вы сделаете приятное путешествие.

Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его (неизвестной ему до сей поры) склонности путешествовать.

— А! это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал вполуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил:

— Подарок вашему величеству от императрицы.

Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима.

Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр.

---

[1] Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии.

[2] Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко.

[3] Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы.

Хотя и не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась.

— Roi de Rome[1], — сказал он, грациозным жестом руки указывая на портрет. — Admirable![2] — С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его — и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека.

Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, с тем, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя.

Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные клики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии.

— Vive l'Empereur! Vive le Roi de Rome! Vive l'Empereur![3] — слышались восторженные голоса.

После завтрака Наполеон, в присутствии Боссе, продиктовал свой приказ по армии.

— Courte et énergique![4] — проговорил Наполеон, когда он прочел сам сразу без поправок написанную прокламацию. В приказе было:

«Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас; она

---

[1] Римский король.
[2] Чудесно!
[3] Да здравствует император! Да здравствует римский король!
[4] Короткий и энергический!

доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою!»

— De la Moskowa! [1] — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям.

— Votre Majesté a trop de bonté [2], — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору: ему хотелось спать и он не умел и боялся ездить верхом.

Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился.

— Снимите его, — сказал он, грациозно-величественным жестом указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения.

Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.

XXVII

Весь этот день 25 августа, как говорят его историки, Наполеон провел на коне, осматривая местность, обсуживая планы, представляемые ему его маршалами, и отдавая лично приказания своим генералам.

Первоначальная линия расположения русских войск по Колоче была переломлена, и часть этой линии, именно левый фланг русских, вследствие взятия Шевардинского редута 24-го числа, была отнесена назад. Эта часть линии была не укреплена, не защищена более рекою, и перед нею одною было более открытое и ровное место. Очевидно было для всякого военного и невоенного, что эту часть линии и должно было атаковать французам. Казалось, что для этого не нужно было много соображений, не нужно было такой заботливости и хлопотливости императора и его маршалов и вовсе не нужно той особенной высшей

---

[1] Под Москвою!
[2] Вы слишком добры, ваше величество.

способности, называемой гениальностью, которую так любят приписывать Наполеону; но историки, впоследствии описывавшие это событие, и люди, тогда окружавшие Наполеона, и он сам думали иначе.

Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в местность, сам с собой одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решеньями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний. Выслушав предложение Даву, называемого герцогом Экмюльским, о том, чтобы обойти левый фланг русских, Наполеон сказал, что этого не нужно делать, не объясняя, почему это было не нужно. На предложение же генерала Компана (который должен был атаковать флеши), провести свою дивизию лесом, Наполеон изъявил свое согласие, несмотря на то, что так называемый герцог Эльхингенский, то есть Ней, позволил себе заметить, что движение по лесу опасно и может расстроить дивизию.

Осмотрев местность против Шевардинского редута, Наполеон подумал несколько времени молча и указал на места, на которых должны были быть устроены к завтрему две батареи для действия против русских укреплений, и места, где рядом с ними должна была выстроиться полевая артиллерия.

Отдав эти и другие приказания, он вернулся в свою ставку, и под его диктовку была написана диспозиция сражения.

Диспозиция эта, про которую с восторгом говорят французские историки и с глубоким уважением другие историки, была следующая:

«С рассветом две новые батареи, устроенные в ночи, на равнине, занимаемой принцем Экмюльским, откроют огонь по двум противостоящим батареям неприятельским.

В это же время начальник артиллерии 1-го корпуса, генерал Пернетти, с 30-ю орудиями дивизии Компана и всеми гаубицами дивизии Дессе́ и Фриана, двинется вперед, откроет огонь и засыплет гранатами неприятельскую батарею, против которой будут действовать:

24 орудия гвардейской артиллерии,
30 орудий дивизии Компана
и 8 орудий дивизии Фриана и Дессе́.

Всего — 62 орудия.

Начальник артиллерии 3-го корпуса, генерал Фуше, поставит все гаубицы 3-го и 8-го корпусов, всего 16, по флангам батареи, которая назначена обстреливать левое укрепление, что составит против него вообще 40 орудий.

Генерал Сорбье должен быть готов по первому приказанию вынестись со всеми гаубицами гвардейской артиллерии против одного либо другого укрепления.

В продолжение канонады князь Понятовский направится на деревню, в лес и обойдет неприятельскую позицию.

Генерал Компан двинется чрез лес, чтобы овладеть первым укреплением.

По вступлении таким образом в бой будут даны приказания соответственно действиям неприятеля.

Канонада на левом фланге начнется, как только будет услышана канонада правого крыла. Стрелки дивизии Морана и дивизии вице-короля откроют сильный огонь, увидя начало атаки правого крыла.

Вице-король овладеет деревней [1] и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Жерара, которые, под его предводительством, направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками армии.

Все это должно быть исполнено в порядке (le tout se fera avec ordre et méthode), сохраняя по возможности войска в резерве.

В императорском лагере, близ Можайска, 6-го сентября, 1812 года».

Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная,— ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его,— заключала в себе четыре пункта — четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено.

В диспозиции сказано, первое: *чтобы устроенные на выбранном Наполеоном месте батареи с имеющими выравняться с ними орудиями Пернетти и Фуше, всего сто два орудия, открыли огонь и засыпали русские флеши и редут снарядами.* Это не могло быть сделано, так как с назначенных Наполеоном мест снаряды не долетали до русских работ, и эти сто два орудия стреляли по-пус-

---

[1] Бородиным.

тому до тех пор, пока ближайший начальник, противно приказанию Наполеона, не выдвинул их вперед.

Второе распоряжение состояло в том, чтобы *Понятовский, направясь на деревню в лес, обошел левое крыло русских.* Это не могло быть и не было сделано потому, что Понятовский, направясь на деревню в лес, встретил там загораживающего ему дорогу Тучкова и не мог обойти и не обошел русской позиции.

Третье распоряжение: *Генерал Компан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением.* Дивизия Компана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, она должна была строиться под картечным огнем, чего не знал Наполеон.

Четвертое: *Вице-король овладеет деревнею (Бородиным) и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Фриана* (о которых не сказано: куда и когда они будут двигаться), *которые под его предводительством направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками.*

Сколько можно понять — если не из бестолкового периода этого, то из тех попыток, которые деланы были вице-королем исполнить данные ему приказания, — он должен был двинуться через Бородино слева на редут, дивизии же Морана и Фриана должны были двинуться одновременно с фронта.

Все это, так же как и другие пункты диспозиции, не было и не могло быть исполнено. Пройдя Бородино, вице-король был отбит на Колоче и не мог пройти дальше; дивизии же Морана и Фриана не взяли редута, а были отбиты, и редут уже в конце сражения был захвачен кавалерией (вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное). Итак, ни одно из распоряжений диспозиции не было и не могло быть исполнено. Но в диспозиции сказано, что по вступлении таким образом в бой будут даны приказания, соответственные действиям неприятеля, и потому могло бы казаться, что во время сражения будут сделаны Наполеоном все нужные распоряжения; но этого не было и не могло быть потому, что во все время сражения Наполеон находился так далеко от него, что (как это и оказалось впоследствии) ход сражения ему не мог быть известен и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено.

XXVIII

Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut été changée [1]. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека — Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека — Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна потому, что у Наполеона был большой насморк 26-го числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно.

Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24-го числа непромокаемые сапоги, был спасителем России. На этом пути мысли вывод этот несомненен,— так же несомненен, как тот вывод, который, шутя (сам не зная над чем), делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека — Петра I, и чтобы Французская империя сложилась и война с Россией началась по воле одного человека — Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.

Как ни странно кажется с первого взгляда предположение, что Варфоломеевская ночь, приказанье на которую отдано Карлом IX, произошла не по его воле, а что ему

[1] и облик мира изменился бы. — *Ред.*

только казалось, что он велел это сделать, и что Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек произошло не по воле Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения), а что ему казалось только, что он это велел, — как ни странно кажется это предположение, но человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, велит допустить это решение вопроса, и исторические исследования обильно подтверждают это предположение.

В Бородинском сражении Наполеон ни в кого не стрелял и никого не убил. Все это делали солдаты. Стало быть, не он убивал людей.

Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказания Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия: французы, итальянцы, немцы, поляки — голодные, оборванные и измученные походом, — в виду армии, загораживавшей от них Москву, чувствовали, что le vin est tiré et qu'il faut le boire[1]. Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо.

Когда они слушали приказ Наполеона, представлявшего им за их увечья и смерть в утешение слова потомства о том, что и они были в битве под Москвою, они кричали «Vive l'Empereur!» точно так же, как они кричали «Vive l'Empereur!» при виде изображения мальчика, протыкающего земной шар палочкой от бильбоке; точно так же, как бы они кричали «Vive l'Empereur!» при всякой бессмыслице, которую бы им сказали. Им ничего больше не оставалось делать, как кричать «Vive l'Empereur!» и идти драться, чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве. Стало быть, не вследствие приказания Наполеона они убивали себе подобных.

И не Наполеон распоряжался ходом сраженья, потому что из диспозиции его ничего не было исполнено и во время сражения он не знал про то, что происходило впереди его. Стало быть, и то, каким образом эти люди убивали друг друга, происходило не по воле Наполеона, а шло независимо от него, по воле сотен тысяч людей,

---

[1] вино откупорено и надо выпить его.

участвовавших в общем деле. Наполеону *казалось только,* что все дело происходило по воле его. И потому вопрос о том, был ли, или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского солдата.

Тем более 26-го августа насморк Наполеона не имел значения, что показания писателей о том, будто вследствие насморка Наполеона его диспозиция и распоряжения во время сражения были не так хороши, как прежние, — совершенно несправедливы.

Выписанная здесь диспозиция нисколько не была хуже, а даже лучше всех прежних диспозиций, по которым выигрывались сражения. Мнимые распоряжения во время сражения были тоже не хуже прежних, а точно такие же, как и всегда. Но диспозиция и распоряжения эти кажутся только хуже прежних потому, что Бородинское сражение было первое, которого не выиграл Наполеон. Все самые прекрасные и глубокомысленные диспозиции и распоряжения кажутся очень дурными, и каждый ученый-военный с значительным видом критикует их, когда сражение по ним не выиграно, и самые плохие диспозиции и распоряжения кажутся очень хорошими, и серьезные люди в целых томах доказывают достоинства плохих распоряжений, когда по ним выиграно сражение.

Диспозиция, составленная Вейротером в Аустерлицком сражении, была образец совершенства в сочинениях этого рода, но ее все-таки осудили, осудили за ее совершенство, за слишком большую подробность.

Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо, и еще лучше, чем в других сражениях. Он не сделал ничего вредного для хода сражения; он склонялся на мнения более благоразумные; он не путал, не противоречил сам себе, не испугался и не убежал с поля сражения, а с своим большим тактом и опытом войны спокойно и достойно исполнял свою роль кажущегося начальствованья.

XXIX

Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал:

— Шахматы поставлены, игра начнется завтра.

Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в maison de l'impératrice[1], удивляя префекта своею памятливостью ко всем мелким подробностям придворных отношений.

Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке: «Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно. Когда надо будет приступить к делу, я сделаю его, как никто другой, а теперь могу шутить, и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению».

Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть перед серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему назавтра.

Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать и, несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские? Ему отвечали, что неприятельские огни всё на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой.

Дежурный адъютант вошел в палатку.

— Eh bien, Rapp, croyez-vous, que nous ferons de bonnes affaires aujourd'hui?[2] — обратился он к нему.

— Sans aucun doute, Sire[3], — отвечал Рапп.

Наполеон посмотрел на него.

— Vous rappelez-vous, Sire, ce que vous m'avez fait l'honneur de dire à Smolensk, — сказал Рапп, — le vin est tiré, il faut le boire[4].

Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку.

— Cette pauvre armée, — сказал он вдруг, — elle a bien diminué depuis Smolensk. La fortune est une franche courtisane, Rapp; je le disais toujours, et je commence à

---

[1] придворном штате императрицы.

[2] Ну, Рапп, как вы думаете: хороши ли будут нынче наши дела?

[3] Без всякого сомнения, государь.

[4] Вы помните ли, сударь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске, вино откупорено, надо его пить.

l'éprouver. Mais la garde, Rapp, la garde est intacte? [1] — вопросительно сказал он.

— Oui, Sire [2], — отвечал Рапп.

Наполеон взял пастильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко; а чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.

— A-t-on distribué les biscuits et le riz aux régiments de la garde? [3] — строго спросил Наполеон.

— Oui, Sire.

— Mais le riz? [4]

Рапп отвечал, что он передал приказанья государя о рисе, но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.

— У меня нет ни вкуса, ни обоняния,— сказал он, принюхиваясь к стакану.— Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Notre corps est une machine à vivre. Il est organisé pour cela, c'est sa nature; laisez-y la vie à son aise, qu'elle s'y défende elle même: elle fera plus que si vous la paralysiez en l'encombrant de remèdes. Notre corps est comme une montre parfaite qui doit aller un certain temps; l'horloger n'a pas la faculté de l'ouvrir, il ne peut la manier qu'à tâtons et les yeux bandés. Notre corps est une machine à vivre, voilà tout [5]. — И как будто вступив на путь определений, définitions, которые любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение. — Вы знаете ли, Рапп,

---

[1] Бедная армия! она очень уменьшилась от Смоленска. Фортуна настоящая распутница, Рапп. Я всегда это говорил и начинаю испытывать. Но гвардия, Рапп, гвардия цела?

[2] Да, государь.

[3] Роздали ли сухари и рис гвардейцам?

[4] — Да, государь.
— Но рис?

[5] Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается, она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время; часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все.

что такое военное искусство? — спросил он. — Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Voilà tout [1].

Рапп ничего не ответил.

— Demain nous allons avoir affaire à Koutouzoff! [2] — сказал Наполеон. — Посмотрим! Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления. Посмотрим!

Он поглядел на часы. Было еще только четыре часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все-таки было нечего. Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая; чуть слышная сырость падала сверху. Костры не ярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышались шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции.

Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и, как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него.

— С которого года в службе? — спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему.

— Ah! un des vieux! [3] Получили рис в полк?

— Получили, ваше величество.

Наполеон кивнул головой и отошел от него.

В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.

Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.

Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух; четвертый, пятый раздались близко и торжественно где-то справа.

---

[1] Вот и все.
[2] Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым!
[3] А! из стариков!

Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой.

Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась.

XXX

Вернувшись от князя Андрея в Горки, Пьер, приказав берейтору приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой, в уголке, который Борис уступил ему.

Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтор стоял, расталкивая его.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство...— упорно, не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал берейтор.

— Что? Началось? Пора? — заговорил Пьер, проснувшись.

— Изволите слышать пальбу,— сказал берейтор, отставной солдат,— уже все господа повышли, сами светлейшие давно проехали.

Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорысил адъютант с казаком.

— Пора, граф, пора! — прокричал адъютант.

Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На кургане этом была толпа военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге.

Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищенья перед красотою зре-

лища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного желто-зеленого камня, виднелись своей изогнутой чертой вершин на горизонте, и между ними за Валуевым прорезывалась большая Смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде — спереди, справа и слева — виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера,— это был вид самого поля сражения, Бородина и лощины над Колочею по обеим сторонам ее.

Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах Во́йна впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.

Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.

Пуфф! — вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и молочно-белым цветами дым, и *бумм!* — раздавался через секунду звук этого дыма.

«Пуф-пуф» — поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь; и «бум-бум» — подтверждали звуки то, что видел глаз.

Пьер оглядывался на первый дым, который он оставил округлым плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянущегося в сторону, и пуф... (с остановкой) пуф-пуф — зарождались еще три, еще четыре, и на каждый, с теми же расстановками, бум... бум-бум-бум — отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны, по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще, по низам и лесам, вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски. Трах-та-та-тах — трещали ружья хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудийными выстрелами.

Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед, на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та *скрытая теплота* (chaleur latente) чувства, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем.

— Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой,— говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения, генералу, стоявшему подле него.

Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана.

— К переправе! — холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет.

«И я, и я»,— подумал Пьер и пошел по направлению за генералом.

Генерал садился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтору, державшему лошадей. Спросив, которая посмирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спада́ют и что он не в силах отвести рук от гривы и поводьев, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с кургана смотревших на него.

XXXI

Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево; но везде были солдаты, с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким-то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно-вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своею лошадью.

— Чего ездит посерёд батальона! — крикнул на него один. Другой толконул прикладом его лошадь, и Пьер, прижавшись к луке и едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторнее.

Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородиным и который в первом действии сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что-то делали солдаты; но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут-то и было поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя.

— Что ездит этот перед линией? — опять крикнул на него кто-то.

— Влево, вправо возьми, — кричали ему.

Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито взглянул на Пьера, очевидно, сбираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой.

— Вы как тут? — проговорил он и поскакал дальше.

Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому-нибудь, поскакал за адъютантом.

— Это здесь, что же? Можно мне с вами? — спрашивал он.

— Сейчас, сейчас, — отвечал адъютант и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что-то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.

— Вы зачем сюда попали, граф? — сказал он ему с улыбкой.— Все любопытствуете?

— Да, да,— сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.

— Здесь-то слава богу, — сказал адъютант, — но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.

— Неужели? — спросил Пьер.— Это где же?

— Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно,— сказал адъютант.— Что ж, едете?

— Да, я с вами, — сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером.— А этого отчего не подняли? — начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.

Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.

— Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? — спросил адъютант.

— Нет, ничего, но что-то она прыгает очень,— с недоуменьем сказал Пьер.

— Ээ!.. да она ранена,— сказал адъютант,— правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф,— сказал он,— le baptême de feu [1].

Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.

— Здесь генерал? — спросил адъютант, подходя к кургану.

— Сейчас были, поехали сюда, — указывая вправо, отвечали ему.

[1] крещение огнем.

Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.

— Не беспокойтесь,— сказал Пьер.— Я пойду на курган, можно?

— Да пойдите, оттуда все видно и не так опасно. А я заеду за вами.

Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку.

Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre[1]) место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.

Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами месте стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.

В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.

Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.

Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно-радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.

В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, было ограничено, отделено от других канавой, — здесь

---

[1] большого редута, рокового редута, центрального редута.

чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.

Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.

Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.

— Господин, позвольте вас попросить с дороги,— сказал он ему,— здесь нельзя.

Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.

Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.

— И как это вы не боитесь, барин, право! — обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.

— А ты разве боишься? — спросил Пьер.

— А то как же? — отвечал солдат.— Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться,— сказал он, смеясь.

Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.

— Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!

— По местам! — крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.

Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из-за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно-радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.

К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.

— Чиненка! — кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату.— Не сюда! К пехотным! — с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.

— Что, знакомая? — смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.

Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.

— И цепь сняли, видишь, назад прошли,— говорили они, указывая через вал.

— Свое дело гляди,— крикнул на них старый унтер-офицер.— Назад прошли, значит, назади дело есть.— И унтер-офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.

— К пятому орудию накатывай! — кричали с одной стороны.

— Разом, дружнее, по-бурлацки, — слышались веселые крики переменявших пушку.

— Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила,— показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник.— Эх, нескладная,— укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.

— Ну вы, лисицы! — смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.

— Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! — кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.

— Тое кое, малый,— передразнивали мужиков.— Страсть не любят.

Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.

Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.

Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.

В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой-то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.

Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.

Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал

внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.

Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.

— Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? — спросил он.

— Картечь! — не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.

Вдруг что-то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.

Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.

Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что-то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.

— Все картечью! — кричал офицер.

Унтер-офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.

— Разбойники, что делают! — закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели.— Беги к резервам, приводи ящики!— крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.

— Я пойду,— сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.

— Не стрелять... Выжидай! — кричал он.

Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.

— Эх, барин, не место тебе тут,— сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.

Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» — вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.

Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.

XXXII

Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.

В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, порываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» — и видел еще что-то странное.

Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.

Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоуме-

ции о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною?» — думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что-то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.

Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)

Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.

С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.

Пьер побежал вниз.

«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что-то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.

XXXIII

Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.

Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.

Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице-короля на Бородино.

От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что-то черное — вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.

Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.

Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.

Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.

Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.

Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.

С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две-три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице-короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он переходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья. Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.

Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжения о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат — стрелять, когда конных — топтать русских пеших, — все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека — собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.

XXXIV

Генералы Наполеона — Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались *оттуда* расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.

Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.

— Подкрепления? — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика-адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! — подумал Наполеон.— Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»

— Dites au roi de Naples, — строго сказал Наполеон, — qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon échiquier. Allez... [1]

Красивый мальчик-адъютант с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей.

Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.

В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.

---

[1] Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень и что я еще не ясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте...

Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.

— Вы очень пылки, Бельяр,— сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу.— Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.

Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.

— Eh bien, qu'est ce qu'ier y a? [1] — сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.

— Sire, le prince... [2] — начал адъютант.

— Просит подкрепления? — с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье.— Надо дать резервы,— сказал он, слегка разводя руками.— Кого послать туда, как вы думаете? — обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle [3], как он впоследствии называл его.

— Государь, послать дивизию Клапареда? — сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.

Наполеон утвердительно кивнул головой.

Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.

— Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, — сказал он.

Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами,— роль, которую он так верно понимал и осуждал.

---

[1] Ну, что еще?

[2] Государь, герцог...

[3] гусенку, которого я сделал орлом.

Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкрепления, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer[1], от которого тает французское войско.

Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.

Проголодавшийся с утра m-r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.

— Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, — сказал он.

Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m-r de Beausset позволил себе игриво-почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.

— Allez vous...[2] — вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.

Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.

Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et énergique[3], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно-бессильно.

Все те прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer[4], — все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сто-

---

[1] адский огонь.
[2] Убирайтесь к...
[3] прокламация короткая и энергическая.
[4] железных людей.

рон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.

Прежде после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса́ пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis [1], и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками.

Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употребленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение и что малейшая случайность могла теперь — на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, — погубить его и его войска.

Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно-печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, — страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бес-

---

[1] пуки неприятельских орлов и знамен.

сильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.

Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.

— Что? Что вы говорите? — сказал Наполеон.— Да, велите подать мне лошадь.

Он сел верхом и поехал к Семеновскому.

В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон,— в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видали еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские.

Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.

Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала.

Наполеон опустил голову и долго молчал.

— A huit cent lieux de France je ne ferai pas démolir ma garde [1], — сказал он и, повернув лошадь, поехал назад к Шевардину.

---

[1] За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию.

XXXV

Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это,— отвечал он на различные предложения.— Да, да, съезди, голубчик, посмотри,— обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: — Нет, не надо, лучше подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.

В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как,— сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади его:

— Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией.

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено

было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа,— сказал он.— Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. — Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.

— Съезди, голубчик,— сказал он Ермолову,— посмотри, нельзя ли что сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.

Флигель-адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegen [1], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.

Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.

Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.

---

[1] перенести в пространство *(нем.)*.

Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sich ganz bequem» [1], — подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.

— Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их,— докладывал он.

Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn [2], с улыбкой сказал:

— Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?..— нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы... как вы смеете!..— делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он.— Как смеете вы, милостивый государь, говорить это *мне*. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.

— Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля,— строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала.— Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской,— сказал Кутузов, крестясь;

---

[1] Старый господин покойно устроился *(нем.)*.
[2] старого господина *(нем.)*.

и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь über diese Eingenommenheit des alten Herrn [1].

— Да, вот он, мой герой, — сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более.

Выслушав его, Кутузов по-французски сказал:

— Vous ne pensez donc pas *comme les autres* que nous sommes obligés de nous retirer? [2]

— Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux, — отвечал Раевский, — et mon opinion... [3]

— Кайсаров! — крикнул Кутузов своего адъютанта.— Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты,— обратился он к другому,— поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из

---

[1] на это самодурство старого господина *(нем.)*.

[2] Вы, стало быть, не думаете, *как другие,* что мы должны отступить?

[3] Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение...

чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

XXXVI

Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно-сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно-свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.

С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по-новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек

пашни или плели плеточки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную-то!.. Выправь! Упадет... Эх, не видят!..» — по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.

Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу,

то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгивал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто-горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1-го батальона и ждал. «Вот она... эта опять к нам! — думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего-то из закрытой области дыма.— Одна, другая! Еще! Попало...» Он остановился и поглядел на ряды. «Нет, перенесло. А вот это попало». И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.

Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2-го батальона.

— Господин адъютант,— прокричал он,— прикажите, чтобы не толпились.— Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.

— Берегись! — послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.

— Ложись! — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.

«Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух...» — Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

— Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту.— Какой...— он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха — и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.

Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.

Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы, и, тяжело, всхрапывая, дышал.

— Ну что стали, подходи!

Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.

— Берись, клади, всё одно! — крикнул чей-то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.

— Ах боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах боже мой! — слышались голоса между офицерами.— На волосок мимо уха прожужжала,— говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.

— В ногу идите... Э!.. мужичье! — крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.

— Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор,— говорил передний мужик.

— Вот так, важно, — радостно сказал задний, попав в ногу.

— Ваше сиятельство? А? Князь? — дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.

Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из-за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных

одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат-носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, которых надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер-офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.

— Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! — блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. — Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю...

Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь,— подумал он.— А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».

XXXVII

Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых.

Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.

— Ну, сейчас,— сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.

В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.

— Видно, и на том свете господам одним жить,— проговорил один.

Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что-то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair à canon [1], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.

В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак — по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его коричневой, мускулистой спине.

— Ух, ух, ух!.. — как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжать пронзительно-звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен и дрожал — что-то де-

---

[1] мясо для пушек.

лали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею.

Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.

— Раздеть! Что стоите? — крикнул он сердито на фельдшеров.

Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.

После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, — представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.

Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.

— Покажите мне... Ооооо! о! ооооо! — слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.

Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.

— О! Ооооо! — зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.

— Боже мой! Что это? Зачем он здесь? — сказал себе князь Андрей.

В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем-то близко и тяжело связан со мною, — думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. — В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью?» — спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»

XXXVIII

Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился

к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, — отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.

Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.

— Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, — сказал адъютант.

— Ils en veulent encore!.. [1] — сказал Наполеон охриплым голосом.

— Sire? [2] — повторил не расслушавший адъютант.

— Ils en veulent encore, — нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, — donnez leur-en [3].

И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что-то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участ-

---

[1] Им еще хочется!..
[2] Государь?
[3] Еще хочется, ну и задайте им.

ников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.

Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a été superbe[1], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:

«La guerre de Russie eût dû être la plus populaire des temps modernes: c'était celle du bon sens et des vrais intérêts, celle du repos et de la sécurité de tous; elle était purement pacifique et conservatrice.

C'était pour la grande cause, la fin des hasards et le commencement de la sécurité. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se dérouler, tout plein du bien-être et de la prospérité de tous. Le système européen se trouvait fondé; il n'était plus question que de l'organiser.

Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon *congrès* et ma *sainte-alliance*. Ce sont des idées qu'on m'a volées. Dans cette réunion de grands souverains, nous eussions traités de nos intérêts en famille et compté de clerc à maître avec les peuples.

L'Europe n'eût bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fût trouvé toujours dans la patrie commune. Il eût demandé toutes les rivières navigables pour tous, la communauté des mers, et que les grandes armées permanentes fussent réduites désormais à la seule garde des souverains.

De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclamé ses limi-

---

[1] поле сражения было великолепно.

tes immuables; toute guerre future, purement *défensive*; tout agrandissement nouveau *antinational*. J'eusse associé mon fils à l'Empire; ma *dictature* eût fini, et son règne constitutionnel eût commencé...

Paris eût été la capitale du monde, et les Français l'envie des nations!..

Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent été consacrés, en compagnie de l'impératrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, à visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits» [1].

Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!

---

[1] Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.

Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении.

Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой *конгресс* и свой *священный союз*. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.

Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине.

Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т. д.

Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну *защитительной*; всякое новое распространение — антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое *диктаторство* кончилось бы, и началось бы его конституционное правление...

Париж был бы столицей мира, и французы предметом зависти всех наций!..

Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало-помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.

«Des 400 000 hommes qui passèrent la Vistule, — писал он дальше о русской войне, — la moitié était Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois, Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armée impériale, proprement dite, était pour un tiers composée de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piémontais, Suisses, Génevois, Toscans, Romains, habitants de la 32-e division militaire, Brême, Hambourg, etc.; elle comptait à peine 140 000 hommes parlant français. L'expédition de Russie coûta moins de 50 000 hommes à la France actuelle; l'armée russe dans la retraite de Wilna à Moscou, dans les différentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armée française; l'incendie de Moscou a coûté la vie à 100 000 Russes, morts de froid et de misère dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou à l'Oder, l'armée russe fut aussi atteinte par l'intempérie de la saison; elle ne comptait à son arrivée à Wilna que 50 000 hommes, et à Kalisch moins de 18 000» [1].

Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.

XXXIX

Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестья-

[1] Из 400 000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32-й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т. д.; в ней едва ли было 140 000 человек, говорящих по-французски.

Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50 000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100 000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50 000 людей, а в Калише менее 18 000.

пам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны — назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.

Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало.

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.

Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам сто́ит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским сто́ит сделать еще одно маленькое усилие, и французы

погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли *половину* своего войска.

Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.

Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и

тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель: но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого-то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.

Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.

Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно-малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно-малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.

Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно-малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.

В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.

Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.

Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.

Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение *начала* какого-нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.

Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения бо́льшую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.

Только допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.

Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? — спрашивает ум человеческий.

Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.

Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.

«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», — говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.

Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.

Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье

дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть развертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.

Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.

II

Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысячи верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.

В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не

распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.

Русские отступают за сто двадцать верст — за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.

В вечер 26-го августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого-нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.

Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.

Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.

А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и

на третий переход, и наконец 1-го сентября, — когда армия подошла к Москве, — несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили еще на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.

Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так-то и так-то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого-нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях *начала* какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.

Нам пресерьезно говорят ученые военные, что Кутузов еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто-то предлагал таковой проект. Но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно. И каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том,

чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28-го числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с фанцузами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту, отдать приказанье. А приказанье отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда везти провиант, а начальник госпиталей — куда везти раненых; а курьер из Петербурга привозит письмо от государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего, тот, кто подкапывается под него (такие всегда есть, и не один, а несколько), предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу; а силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления; а обойденный наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите; посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер; а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал — все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего, представляют нам, например, положение войск в Филях и при этом предполагают, что главнокомандующий мог 1-го сентября совершенно свободно разрешать вопрос об оставлении или защите Москвы, тогда как при положении русской армии в пяти верстах от Москвы вопроса этого не могло быть. Когда же решился этот вопрос? И под Дриссой, и под Смоленском, и ощутительнее всего 24-го под Шевардиным, и 26-го под Бородиным, и в каждый день, и час, и минуту отступления от Бородина до Филей.

III

Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.

— Драться на этой позиции нет возможности, — сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.

— Дай-ка руку, — сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: — Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.

Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шепотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно, с усилием, старались держаться на высоте положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтобы он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большей частью, послушав разговор какого-нибудь кружка, он с видом разочарования, — как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, — отворачивался. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире. (Француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя возможность так же защищать Москву.) В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что все-таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое... Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений,

говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было *никакой физической возможности* в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как день видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты — свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха — себе приписать его; в случае же отказа — очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции,

дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что-нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.

Он подозвал к себе старших генералов.

— Ma tête fut-elle bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle même[1], — сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.

IV

В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много

---

[1] Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого.

народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.

Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.

— *Священную древнюю столицу России!* — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя

ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например... (Кутузов

как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля... — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.

— Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots cassés [1], — сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого я не думал!

— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.

— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы...

---

[1] Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки.

V

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.

Событие это — оставление Москвы и сожжение ее — было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.

Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.

Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось.

Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12-го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома́ и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.

«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», — говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон

в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.

Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли, или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором писал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа́, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то прика-

зывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт-директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по-французски стихи о своем участии в этом деле [1], — этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.

VI

Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.

В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.

То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что

---

[1] Je suis né Tartare. Je voulus être Romain. Les Français m'appelèrent barbare. Les Russes — Georges Dandin. То есть: я родился татарином. Я хотел быть римлянином. Французы называли меня варваром. Русские — Жоржем Данденом.

хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.

В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и вполуоборот повернувшись к нему, твердо сказала:

— Voilà l'égoïsme et la cruauté des hommes! Je ne m'attendais pas à autre chose. La femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voilà sa récompense. Quel droit avez vous, Monseigneur, de me demander compte de mes amitiés, de mes affections? C'est un homme qui a été plus qu'un père pour moi [1].

Лицо хотело что-то сказать. Элен перебила его.

— Eh bien, oui, — сказала она, — peut être qu'il a pour moi d'autres sentiments que ceux d'un père, mais ce n'est pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour être ingrate. Sachez, Monseigneur, pour tout ce qui a rapport à mes sentiments intimes, je ne rends compte qu'à Dieu et à ma conscience [2], — кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо.

— Mais écoutez moi, au nom de Dieu.

— Epousez moi, et je serai votre esclave.

— Mais c'est impossible.

— Vous ne daignez pas descendre jusqu'à moi, vous... [3] — заплакав, сказала Элен.

Лицо стало утешать ее; Элен же сквозь слезы говорила (как бы забывшись), что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры (тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ), что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву.

---

[1] Вот эгоизм и жестокость мужчин! Я ничего лучшего и не ожидала. Женщина приносит себя в жертву вам; она страдает, и вот ей награда. Ваше высочество, какое имеете вы право требовать от меня отчета в моих привязанностях и дружеских чувствах? Это человек, бывший для меня больше чем отцом.

[2] Ну да, может быть, чувства, которые он питает ко мне, не совсем отеческие; но ведь из-за этого не следует же мне отказывать ему от моего дома. Я не мужчина, чтобы платить неблагодарностью. Да будет известно вашему высочеству, что в моих задушевных чувствах я отдаю отчет только богу и моей совести.

[3] — Но выслушайте меня, ради бога.

— Женитесь на мне, и я буду вашею рабою.

— Но это невозможно.

— Вы не удостоиваете снизойти до брака со мною, вы...

— Но законы, религия... — уже сдаваясь, говорило лицо.

— Законы, религия... На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого! — сказала Элен.

Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову, и обратилось за советом к святым братьям Общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях.

Через несколько дней после этого, на одном из обворожительных праздников, который давала Элен на своей даче на Каменном острову, ей был представлен немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, обворожительный m-r de Jobert, un jésuite à robe courte[1], который долго в саду, при свете иллюминации и при звуках музыки, беседовал с Элен о любви к богу, к Христу, к сердцу божьей матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единою истинною католическою религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у m-r Jobert в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен, расстроил ее беседу с ее будущим directeur de conscience;[2] но на другой день m-r de Jobert пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее.

В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена. Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что-то вроде дуновения свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была la grâce[3].

Потом ей привели аббата à robe longue[4], он исповедовал ее и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен, к удовольствию своему, узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую-то бумагу.

Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными

---

[1] г-н Жобер, иезуит в коротком платье.
[2] блюстителем совести.
[3] благодать.
[4] в длинном платье.

людьми и выражающееся в таких приятных, утонченных формах, и голубиная чистота, в которой она теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), — все это доставляло ей удовольствие; но из-за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. И как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений (о чем ей делали намеки), Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этою целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее.

Они сидели в гостиной у окна. Были сумерки. Из окна пахло цветами. Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди. Аббат, хорошо откормленный, с пухлой, гладко бритой бородой, приятным крепким ртом и белыми руками, сложенными кротко на коленях, сидел близко к Элен и с тонкой улыбкой на губах, мирно — восхищенным ее красотою взглядом смотрел изредка на ее лицо и излагал свой взгляд на занимавший их вопрос. Элен беспокойно улыбалась, глядела на его вьющиеся волоса, гладко выбритые чернеющие полные щеки и всякую минуту ждала нового оборота разговора. Но аббат, хотя, очевидно, и наслаждаясь красотой и близостью своей собеседницы, был увлечен мастерством своего дела.

Ход рассуждения руководителя совести был следующий. В неведении значения того, что вы предпринимали, вы дали обет брачной верности человеку, который, с своей стороны, вступив в брак и не веря в религиозное значение брака, совершил кощунство. Брак этот не имел двоякого значения, которое должен он иметь. Но несмотря на то, обет ваш связывал вас. Вы отступили от него. Что вы совершили этим? Péché veniel или péché mortel?[1] Péché veniel, потому что вы без дурного умысла совершили поступок. Ежели вы теперь, с целью иметь детей, вступили

[1] Грех простительный или грех смертный?

бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять распадается надвое: первое...

— Но я думаю, — сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, — что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия.

Directeur de conscience[1] был изумлен этим постановленным перед ним с такою простотою Колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов.

— Entendons nous, comtesse[2], — сказал он с улыбкой и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.

VII

Элен понимала, что дело было очень просто и легко с духовной точки зрения, но что ее руководители делали затруднения только потому, что они опасались, каким образом светская власть посмотрит на это дело.

И вследствие этого Элен решила, что надо было в обществе подготовить это дело. Она вызвала ревность старика вельможи и сказала ему то же, что первому искателю, то есть поставила вопрос так, что единственное средство получить права на нее состояло в том, чтобы жениться на ней. Старое важное лицо первую минуту было так же поражено этим предложением выйти замуж от живого мужа, как и первое молодое лицо; но непоколебимая уверенность Элен в том, что это так же просто и естественно, как и выход девушки замуж, подействовала и на него. Ежели бы заметны были хоть малейшие признаки колебания, стыда или скрытности в самой Элен, то дело бы ее, несомненно, было проиграно; но не только не было этих признаков скрытности и стыда, но, напротив, она с простотой и добродушной наивностью рассказывала своим близким друзьям (а это был весь Петербург), что ей сделали предложение и принц и вельможа и что она любит обоих и боится огорчить того и другого.

По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем (ежели

[1] Блюститель совести.
[2] Разберем дело, графиня.

бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен находится в недоуменье о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака; но таких было мало, и они молчали, большинство же интересовалось вопросами о счастии, которое постигло Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли, или дурно выходить от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами (как говорили) и усомниться в правильности решения вопроса значило рисковать выказать свою глупость и неумение жить на свете.

Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо выразить свое, противное общественному, мнение. Встретив Элен на бале, Марья Дмитриевна остановила ее посередине залы и при общем молчании своим грубым голосом сказала ей:

— У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка. Уж давно выдумано. Во всех...... так-то делают. — И с этими словами Марья Дмитриевна с привычным грозным жестом, засучивая свои широкие рукава и строго оглядываясь, прошла через комнату.

На Марью Дмитриевну, хотя и боялись ее, смотрели в Петербурге как на шутиху и потому из слов, сказанных ею, заметили только грубое слово и шепотом повторяли его друг другу, предполагая, что в этом слове заключалась вся соль сказанного.

Князь Василий, последнее время особенно часто забывавший то, что он говорил, и повторявший по сотне раз одно и то же, говорил всякий раз, когда ему случалось видеть свою дочь.

— Hélène, j'ai un mot à vous dire, — говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. — J'ai eu vent de certains projets relatifs à... Vous savez. Eh bien, ma chère enfant, vous savez que mon cœur de père se réjouit de

vous savoir... Vous avez tant souffert... Mais, chère enfant... ne consultez que votre cœur. C'est tout ce que je vous dis [1]. — И, скрывая всегда одинаковое волнение, он прижимал свою щеку к щеке дочери и отходил.

Билибин, не утративший репутации умнейшего человека и бывший бескорыстным другом Элен, одним из тех друзей, которые бывают всегда у блестящих женщин, друзей-мужчин, никогда не могущих перейти в роль влюбленных, Билибин однажды в petit comité [2] высказал своему другу Элен взгляд свой на все это дело.

— Ecoutez, Bilibine (Элен таких друзей, как Билибин, всегда называла по фамилии), — и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. — Dites moi comme vous diriez à une sœur, que dois-je faire? Lequel des deux? [3]

Билибин собрал кожу над бровями и с улыбкой на губах задумался.

— Vous ne me prenez pas en расплох, vous savez, — сказал он. — Comme véritable ami j'ai pensé et repensé à votre affaire. Voyez vous. Si vous épousez le prince (это был молодой человек), — он загнул палец, — vous perdez pour toujours la chance d'épouser l'autre, et puis vous mécontentez la Cour. (Comme vous savez, il y a une espèce de parenté.) Mais si vous épousez le vieux comte, vous faites le bonheur de ses derniers jours, et puis comme veuve du grand... le prince ne fait plus de mésaillance en vous épousant [4], — и Билибин распустил кожу.

— Voilà un véritable ami! — сказала просиявшая Элен, еще раз дотрогиваясь рукой до рукава Билибина. — Mais c'est que j'aime l'un et l'autre, je ne voudrais pas leur faire

---

[1] Элен, мне надо тебе кое-что сказать. Я прослышал о некоторых видах касательно... ты знаешь. Ну так, милое дитя мое, ты знаешь, что сердце отца твоего радуется тому, что ты... Ты столько терпела... Но, милое дитя... Поступай, как велит тебе сердце. Вот весь мой совет.

[2] маленьком интимном кружке.

[3] Послушайте, Билибин: скажите мне, как бы сказали вы сестре, что мне делать? Которого из двух?

[4] Вы меня не захватите врасплох, вы знаете. Как истинный друг, я долго обдумывал ваше дело. Вот видите: если выйти за принца, то вы навсегда лишаетесь возможности быть женою другого, и вдобавок двор будет недоволен. (Вы знаете, ведь тут замешано родство.) А если выйти за старого графа, то вы составите счастие последних дней его, и потом... принцу уже не будет унизительно жениться на вдове вельможи.

de chagrin. Je donnerais ma vie pour leur bonheur à tous deux [1], — сказала она.

Билибин пожал плечами, выражая, что такому горю даже и он пособить уже не может.

«Une maîtresse-femme! Voilà ce qui s'appelle poser carrément la question. Elle voudrait épouser tous les trois à la fois», [2] — подумал Билибин.

— Но скажите, как муж ваш посмотрит на это дело? — сказал он, вследствие твердости своей репутации не боясь уронить себя таким наивным вопросом. — Согласится ли он?

— Ah! Il m'aime tant! — сказала Элен, которой почему-то казалось, что Пьер тоже ее любил. — Il fera tout pour moi [3].

Билибин подобрал кожу, чтобы обозначить готовящийся mot.

— Même le divorce [4], — сказал он.

Элен засмеялась.

В числе людей, которые позволяли себе сомневаться в законности предпринимаемого брака, была мать Элен, княгиня Курагина. Она постоянно мучилась завистью к своей дочери, и теперь, когда предмет зависти был самый близкий сердцу княгини, она не могла примириться с этой мыслью. Она советовалась с русским священником о том, в какой мере возможен развод и вступление в брак при живом муже, и священник сказал ей, что это невозможно, и, к радости ее, указал ей на евангельский текст, в котором (священнику казалось) прямо отвергается возможность вступления в брак от живого мужа.

Вооруженная этими аргументами, казавшимися ей неопровержимыми, княгиня рано утром, чтобы застать ее одну, поехала к своей дочери.

Выслушав возражения своей матери, Элен кротко и насмешливо улыбнулась.

— Да ведь прямо сказано: кто женится на разводной жене... — сказала старая княгиня.

---

[1] Вот истинный друг! Но ведь я люблю того и другого и не хотела бы огорчать никого. Для счастия обоих я готова бы пожертвовать жизнию.

[2] «Молодец-женщина! Вот что. называется твердо поставить вопрос. Она хотела бы быть женою всех троих в одно и то же время».

[3] Ах! он меня так любит! Он на все для меня готов.

[4] Даже и на развод.

— Ah, maman, ne dites pas de bêtises. Vous ne comprenez rien. Dans ma position j'ai des devoirs [1], — заговорила Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле.

— Но, мой друг...

— Ah, maman, comment est-ce que vous ne comprenez pas que le Saint Père, qui a le droit de donner des dispenses... [2]

В это время дама-компаньонка, жившая у Элен, вошла к ней доложить, что его высочество в зале и желает ее видеть.

— Non, dites lui que je ne veux pas le voir, que je suis furieuse contre lui, parce qu'il m'a manqué parole.

— Comtesse, à tout péché miséricorde [3], — сказал, входя, молодой белокурый человек с длинным лицом и носом.

Старая княгиня почтительно встала и присела. Вошедший молодой человек не обратил на нее внимания. Княгиня кивнула головой дочери и поплыла к двери.

«Нет, она права, — думала старая княгиня, все убеждения которой разрушились пред появлением его высочества. — Она права; но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто», — думала, садясь в карету, старая княгиня.

В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за NN и о том, что она вступила в единую истинную религию и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель сего письма.

«Sur ce je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa sainte et puissante garde. Votre amie Hélène» [4].

Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился на Бородинском поле.

---

[1] Ах, маменька, не говорите глупостей. Вы ничего не понимаете. В моем положении есть обязанности.

[2] Ах, маменька, как вы не понимаете, что святой отец, имеющий власть отпущений...

[3] Нет, скажите ему, что я не хочу его видеть, что я взбешена против него, потому что он мне не сдержал слова.

— Графиня, милосердие всякому греху.

[4] «Затем молю бога, да будете вы, мой друг, под святым и сильным его покровом. Друг ваш Елена».

VIII

Во второй раз, уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.

Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.

Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно-равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.

Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.

Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.

Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.

— Да ты из каких будешь? — вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?

— Я? я?.. — сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение,

чтобы быть ближе и понятнее для солдат. — Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.

— Вишь ты! — сказал один из солдат.

Другой солдат покачал головой.

— Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! — сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.

Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда-либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.

— Тебе куды надо-то? Ты скажи! — спросил опять один из них.

— Мне в Можайск.

— Ты, стало, барин?

— Да.

— А как звать?

— Петр Кириллович.

— Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем.

В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.

— Ваше сиятельство, — проговорил он, — а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

— Ах да, — сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

— Ну что, нашел своих? — сказал один из них.

— Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! — сказали другие голоса.

— Прощайте, — сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» — подумал Пьер, взявшись за карман. — «Нет, не надо», — сказал ему какой-то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

IX

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой-то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава богу, что этого нет больше, — подумал Пьер, опять закрываясь с головой. — О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они... *они* все время, до конца были тверды, спокойны...» — подумал он. *Они* в понятии Пьера были солдаты — те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. *Они* — эти странные, неведомые ему доселе *они,* ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

«Солдатом быть, просто солдатом! — думал Пьер, засыпая. — Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? — подумал Пьер. — Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад,

что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл *они*), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были *они*. И *они* со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, — подумал Пьер. — Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, — говорил голос. — Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И *они* просты. *Они* не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет,

не соединить. Нельзя соединять мысли, а *сопрягать* все эти мысли — вот что нужно! Да, *сопрягать надо, сопрягать надо!»* — с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.

— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...

Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать все?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.

Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Дорóгой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

X

30-го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

— А мы вас везде ищем, — сказал адъютант. — Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

— Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

— Да ведь вот, он пишет, — говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

— Это другое дело. Для народа это нужно, — сказал первый.

— Что это? — спросил Пьер.

— А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне

надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

— А мне говорили военные люди, — сказал Пьер, — что в городе никак нельзя сражаться и что позиция...

— Ну да, про то-то мы и говорим, — сказал первый чиновник.

— А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? — сказал Пьер.

— У графа был ячмень, — сказал адъютант, улыбаясь, — и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, — сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, — мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга...

— Я ничего не слыхал, — равнодушно сказал Пьер. — А что вы слышали?

— Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

— Что же вы слышали?

— Да говорят, — опять с той же улыбкой сказал адъютант, — что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор...

— Может быть, — сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. — А это кто? — спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

— Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

— Ах, так это Верещагин! — сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

— Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, — сказал адъютант. — Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой — чиновник-немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

— Видите ли, — рассказывал адъютант, — это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? — От того-то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина... недоученный купчик, знаете, купчик-голубчик, — улыбаясь, сказал адъютант. — Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт-директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» — «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! — с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. — Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

— А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! — сказал Пьер.

— Совсем не нужно, — испуганно сказал адъютант.— За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? — говорит граф. Взял со стола эту «Гамбургскую газету.» — Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел-то скверно, потому что ты и по-французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». — «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» — «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где-то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца...

XI

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.

Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что-то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

— А! здравствуйте, воин великий, — сказал Растопчин, как только вышел этот человек. — Слышали про ваши prouesses! [1] Но не в том дело. Mon cher, entre nous [2], вы масон? — сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что-то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. — Mon cher, je suis bien informé [3], но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

— Да, я масон, — отвечал Пьер.

— Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт-директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

— Но в чем же, граф, вина Ключарева? — спросил Пьер.

— Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, — вскрикнул Растопчин.

— Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, — сказал Пьер (не глядя на Растопчина), — и Верещагина...

---

[1] достославные подвиги.
[2] Между нами, мой милый.
[3] Мне, любезнейший, все хорошо известно.

— Nous y voilà [1], — вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. — Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, — сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. — Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. — И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: — Nous sommes à la veille d'un désastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses à tous ceux qui ont affaire à moi. Голова иногда кругом идет! Eh bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [2]

— Mais rien [3], — отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

— Un conseil d'ami, mon cher. Décampez et au plutôt, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, — прокричал он ему из двери, — правда ли, что графиня попалась в лапки des saints pères de la Société de Jésus? [4]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

---

[1] Так и есть.

[2] Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?

[3] Да ничего.

[4] Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?

«*Они* — солдаты на батарее, князь Андрей убит... старик... Простота есть покорность богу. Страдать надо... значение всего... сопрягать надо... жена идет замуж... Забыть и понять надо...» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник — узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

XII

Ростовы до 1-го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из-под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда-нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где-то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя

одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там *что-то* сражаются и что-то в этом находят радостного, — тогда матери показалось, что его-то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» — думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.

Несмотря на то, что уже с 20-го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно-страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из-под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.

По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской

и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30-го.

С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не велено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), — все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1-го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот-вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.

В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и до́ма делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.

Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время.

Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.

— Я никогда не радовалась тогда, — сказала графиня, — когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!

Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что-нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом-мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда-то, что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

XIII

31-го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные вѐрхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.

Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.

— Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?

И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.

Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.

Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.

Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.

— Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? — говорила Мавра Кузминишна. — Вам бы покойнее где на квартире... Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.

— Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вон начальник... спросите, — и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.

Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.

— Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она.

Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.

— Кого вам угодно, мамзель? — сказал он, суживая глаза и улыбаясь.

Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.

— О, да, отчего ж, можно, — сказал он.

Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.

— Можно, он сказал, можно! — шепотом сказала Наташа.

Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.

— Надо все-таки папаше доложить, — сказала Мавра Кузминишна.

— Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.

— Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.

— Ну, я спрошу.

Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.

— Вы спите, мама?

— Ах, какой сон! — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.

— Мама, голубчик, — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. — Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите... — говорила она быстро, не переводя духа.

— Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, — сказала графиня.

Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.

— Я знала, что вы позволите... так я так и скажу. — И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.

— Досиделись мы! — с невольной досадой сказал граф. — И клуб закрыт, и полиция выходит.

— Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? — сказала ему Наташа.

— Разумеется, ничего, — рассеянно сказал граф. — Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра... — И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.

Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.

Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, — что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

XIV

M-me Schoss, ходившая к своей дочери, еще более увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.

После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных

усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ними пошли люди.

— Соня, постой, да мы всё так уложим, — сказала Наташа.

— Нельзя, барышня, уж пробовали, — сказал буфетчик.

— Нет, постой, пожалуйста. — И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.

— Блюда надо сюда, в ковры, — сказала она.

— Да еще и ковры-то дай бог на три ящика разложить, — сказал буфетчик.

— Да постой, пожалуйста. — И Наташа быстро, ловко начала разбирать. — Это не надо, — говорила она про киевские тарелки, — это да, это в ковры, — говорила она про саксонские блюда.

— Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, — с упреком говорила Соня.

— Эх, барышня! — говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.

— Да полно, Наташа, — говорила ей Соня. — Я вижу, ты права, да вынь один верхний.

— Не хочу, — кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. — Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! — кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжа-

лось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.

Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.

Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной.

В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным вéрхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.

— Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, — сказала старушка, обращаясь к старому слуге.

— Да что, — отвечал камердинер, вздыхая, — и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.

— К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, — говорила Мавра Кузминишна. — А что, очень нездоровы? — прибавила она.

Камердинер махнул рукой.

— Не чаем довезти! У доктора спросить надо. — И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.

— Хорошо, — сказал доктор.

Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.

— Господи Иисусе Христе! — проговорила она.

Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.

— Господа ничего не скажут... — говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m-me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

XV

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.

Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.

В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1-го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все — отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех ране-

ных, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.

Проснувшись утром 1-го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.

— Ну, что, все готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)

— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.

— Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме? — Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.

— Граф, сделайте одолжение, позвольте мне... ради бога... где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет... Мне на возу... все равно... — Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.

— А! да, да, да, — поспешно заговорил граф. — Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очисть одну или две телеги, ну там... что же... что нужно... — какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.

— Ну, что же, можно сложить что-нибудь, — прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.

В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении

графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m-me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают — добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.

— Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?

— Знаешь, ma chère, я вот что хотел тебе сказать... ma chère графинюшка... ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть... Знаешь, думаю, право, ma chère, вот, ma chère... пускай их свезут... куда же торопиться?.. — Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, — и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.

Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу:

— Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше — *детское* состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.

Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

— Папа! об чем вы это? — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.

— Ни о чем! Тебе что за дело! — сердито проговорил граф.

— Нет, я слышала, — сказала Наташа. — Отчего ж маменька не хочет?

— Тебе что за дело? — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.

— Папенька, Берг к нам приехал, — сказала она, глядя в окно.

XVI

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.

Он 1 сентября приехал из армии в Москву.

Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что-то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.

Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.

Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.

— Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, — сказал граф, — что войска? Отступают или будет еще сраженье?

— Один предвечный бог, папаша, — сказал Берг, — может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они — оно, — поправился он, — показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать... Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), — я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти... да, мужественные и древние под-

ниги, — сказал он скороговоркой. — Генерал Барклай де Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! — И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого-то вопроса, смотрела на него.

— Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! — сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд... — «Россия не в Москве, она в сердцах ее сынов!» Так, папаша? — сказал Берг.

В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.

— Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать...

— Я не понимаю, что делают люди, — сказала графиня, обращаясь к мужу,— мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому-нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет!

Граф хотел что-то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.

Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.

— А у меня к вам, папаша, большая просьба, — сказал он.

— Гм?.. — сказал граф, останавливаясь.

— Еду я сейчас мимо Юсупова дома, — смеясь, сказал Берг. — Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих

мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и...

Граф сморщился и заперхал.

— У графини просите, а я не распоряжаюсь.

— Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо,— сказал Берг.— Мне для Верушки только очень бы хотелось.

— Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту! — закричал старый граф. — Голова кругом идет. — И он вышел из комнаты.

Графиня заплакала.

— Да, да, маменька, очень тяжелые времена! — сказал Берг.

Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что-то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.

На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.

— Ты знаешь за что? — спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.

— За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых, — сказал Петя. — Мне Васильич сказал. По-моему...

— По-моему, — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, — по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю! Разве мы немцы какие-нибудь?.. — Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали.

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! — закричала она. — Они остаются!..

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам-то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе... Маменька!.. Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдруг сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня!

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. — спрашивала Наташа. — Мы все-таки возьмем все самое нужное... — говорила Наташа.

Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.

Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе; точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить

раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.

— Четверых еще можно взять, — говорил управляющий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.

— Куда же его привязать? — говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, — надо хоть одну подводу оставить.

— Да с чем он? — спрашивала Наташа.

— С книгами графскими.

— Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.

В бричке все было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.

— Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? — кричала Наташа.

Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться; записывала их, по желанию графини, и старалась захватить с собой как можно больше.

XVII

Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.

Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.

— Это чья же коляска? — спросила Соня, высунувшись в окно кареты.

— А вы разве не знали, барышня? — отвечала горничная. — Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.

— Да кто это? Как фамилия?

— Самый наш жених бывший, князь Болконский! — вздыхая, отвечала горничная. — Говорят, при смерти.

Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по-дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.

— Maman, — сказала Соня, — князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.

Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.

— Наташа? — проговорила она.

И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.

— Наташа не знает еще; но он едет с нами, — сказала Соня.

— Ты говоришь, при смерти?

Соня кивнула головой.

Графиня обняла Соню и заплакала.

«Пути господни неисповедимы!» — думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.

— Ну, мама, все готово. О чем вы?.. — спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.

— Ни о чем, — сказала графиня. — Готово, так поедем. — И графиня нагнулась к своему ридикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.

Наташа вопросительно взглянула на нее.

— Что ты? Что такое случилось?

— Ничего... Нет...

— Очень дурное для меня?.. Что такое? — спрашивала чуткая Наташа.

Соня вздохнула и ничего не ответила. Граф, Петя, m-me Schoss, Мавра Кузминишна, Васильич вошли в го-

стиную, и, затворив двери, все сели и молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд.

Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Потом граф стал обнимать Мавру Кузминишну и Васильича, которые оставались в Москве, и, в то время как они ловили его руку и целовали его в плечо, слегка трепал их по спине, приговаривая что-то неясное, ласково-успокоительное. Графиня ушла в образную, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене остававшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою.)

На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались.

Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго два гайдука стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подсадить графиню, в то время как бегали девушки с подушками, узелками из дому в кареты, и коляску, и бричку, и обратно.

— Век свой все перезабудут! — говорила графиня. — Ведь ты знаешь, что я не могу так сидеть. — И Дуняша, стиснув зубы и не отвечая, с выражением упрека на лице, бросилась в карету переделывать сиденье.

— Ах, народ этот! — говорил граф, покачивая головой.

Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на своих козлах, даже не оглядывался на то, что делалось позади его. Он тридцатилетним опытом знал, что не скоро еще ему скажут «с богом!» и что когда скажут, то еще два раза остановят его и пошлют за забытыми вещами, и уже после этого еще раз остановят, и графиня сама высунется к нему в окно и попросит его Христом-богом ехать осторожнее на спусках. Он знал это и потому терпеливее своих лошадей (в особенности левого рыжего — Сокола, который бил ногой и, пережевывая, перебирал удила) ожидал того, что будет. Наконец все уселись; ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась, послали за шкатулкой, графиня высунулась и сказала, что должно. Тогда Ефим медленно снял шляпу с своей головы и стал креститься. Форейтор и все люди сделали то же.

— С богом! — сказал Ефим, надев шляпу. — Вытягивай! — Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую мостовую, так же встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их.

Наташа редко испытывала столь радостное чувство, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой, встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску. Она знала, что она была впереди всех.

В Кудрине, из Никитской, от Пресни, от Подновинского съехалось несколько таких же поездов, как был поезд Ростовых, и по Садовой уже в два ряда ехали экипажи и подводы.

Объезжая Сухареву башню, Наташа, любопытно и быстро осматривавшая народ, едущий и идущий, вдруг радостно и удивленно вскрикнула:

— Батюшки! Мама, Соня, посмотрите, это он!

— Кто? Кто?

— Смотрите, ей-богу, Безухов! — говорила Наташа, высовываясь в окно кареты и глядя на высокого толстого человека в кучерском кафтане, очевидно, наряженного барина по походке и осанке, который рядом с желтым безбородым старичком в фризовой шинели подошел под арку Сухаревой башни.

— Ей-богу, Безухов, в кафтане, с каким-то старым мальчиком! Ей-богу, — говорила Наташа, — смотрите, смотрите!

— Да нет, это не он. Можно ли, такие глупости.

— Мама, — кричала Наташа, — я вам голову дам на отсечение, что это он! Я вас уверяю. Постой, постой! — кричала она кучеру; но кучер не мог остановиться, потому что из Мещанской выехали еще подводы и экипажи, и на Ростовых кричали, чтоб они трогались и не задерживали других.

Действительно, хотя уже гораздо дальше, чем прежде, все Ростовы увидали Пьера или человека, необыкновенно похожего на Пьера, в кучерском кафтане, шедшего по улице с нагнутой головой и серьезным лицом, подле маленького безбородого старичка, имевшего вид лакея. Старичок этот заметил высунувшееся на него лицо из кареты и, почтительно дотронувшись до локтя Пьера, что-то сказал ему, указывая на карету. Пьер долго не мог понять того, что он говорил; так он, видимо, погружен был в свои мысли. Наконец, когда он понял его, посмотрел по указанию и, узнав Наташу, в ту же секунду отдаваясь первому впечатлению, быстро направился к карете. Но, пройдя шагов десять, он, видимо, вспомнив что-то, остановился.

Высунувшееся из кареты лицо Наташи сияло насмешливою лаской.

— Петр Кирилыч, идите же! Ведь мы узнали! Это удивительно! — кричала она, протягивая ему руку. — Как это вы? Зачем вы так?

Пьер взял протянутую руку и на ходу (так как карета продолжала двигаться) неловко поцеловал ее.

— Что с вами, граф? — спросила удивленным и соболезнующим голосом графиня.

— Что? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня, — сказал Пьер и оглянулся на Наташу, сияющий, радостный взгляд которой (он чувствовал это, не глядя на нее) обдавал его своей прелестью.

— Что же вы, или в Москве остаетесь? — Пьер помолчал.

— В Москве? — сказал он вопросительно. — Да, в Москве. Прощайте.

— Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо! — сказала Наташа. — Мама, позвольте, я останусь. — Пьер рассеянно посмотрел на Наташу и что-то хотел сказать, но графиня перебила его:

— Вы были на сражении, мы слышали?

— Да, я был, — отвечал Пьер. — Завтра будет опять сражение... — начал было он, но Наташа перебила его:

— Да что же с вами, граф? Вы на себя не похожи...

— Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра... Да нет! Прощайте, прощай-

те, — проговорил он, — ужасное время! — И, отстав от кареты, он отошел на тротуар.

Наташа долго еще высовывалась из окна, сияя на него ласковой и немного насмешливой, радостной улыбкой.

XVIII

Пьер, со времени исчезновения своего из дома, уже второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева. Вот как это случилось.

Проснувшись на другой день после своего возвращения в Москву и свидания с графом Растопчиным, Пьер долго не мог понять того, где он находился и чего от него хотели. Когда ему, между именами прочих лиц, дожидавшихся его в приемной, доложили, что его дожидается еще француз, привезший письмо от графини Елены Васильевны, на него нашло вдруг то чувство спутанности и безнадежности, которому он способен был поддаваться. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого. Он, неестественно улыбаясь и что-то бормоча, то садился на диван в беспомощной позе, то вставал, подходил к двери и заглядывал в щелку в приемную, то, махая руками, возвращался назад и брался за книгу. Дворецкий в другой раз пришел доложить Пьеру, что француз, привезший от графини письмо, очень желает видеть его хоть на минутку и что приходили от вдовы И. А. Баздеева просить принять книги, так как сама г-жа Баздеева уехала в деревню.

— Ах, да, сейчас, подожди... Или нет... да нет, поди скажи, что сейчас приду, — сказал Пьер дворецкому.

Но как только вышел дворецкий, Пьер взял шляпу, лежавшую на столе, и вышел в заднюю дверь из кабинета. В коридоре никого не было. Пьер прошел во всю длину коридора до лестницы и, морщась и растирая лоб обеими руками, спустился до первой площадки. Швейцар стоял у парадной двери. С площадки, на которую спустился Пьер, другая лестница вела к заднему ходу. Пьер пошел по ней и вышел во двор. Никто не видал его. Но на улице, как только он вышел в ворота, кучера, стоявшие с экипажами, и дворник увидали барина и сняли перед ним шапки. Почувствовав на себя устрем-

ленные взгляды, Пьер поступил как страус, который прячет голову в куст, с тем чтобы его не видали; он опустил голову и, прибавив шагу, пошел по улице.

Из всех дел, предстоявших Пьеру в это утро, дело разборки книг и бумаг Иосифа Алексеевича показалось ему самым нужным.

Он взял первого попавшегося ему извозчика и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева.

Беспрестанно оглядываясь на со всех сторон двигавшиеся обозы выезжавших из Москвы и оправляясь своим тучным телом, чтобы не соскользнуть с дребезжащих старых дрожек, Пьер, испытывая радостное чувство, подобное тому, которое испытывает мальчик, убежавший из школы, разговорился с извозчиком.

Извозчик рассказал ему, что нынешний день разбирают в Кремле оружие, и что на завтрашний народ выгоняют весь за Трехгорную заставу, и что там будет большое сражение.

Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.

— Дома? — спросил Пьер.

— По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.

— Я все-таки войду, мне надо книги разобрать, — сказал Пьер.

— Пожалуйте, милости просим, братец покойника, — царство небесное! — Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, — сказал старый слуга.

Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.

— Да, да, знаю. Пойдем, пойдем... — сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что-то и ушел в коридор.

— Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, — сказал Герасим. — В кабинет угодно? — Пьер кивнул головой. — Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.

Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.

Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда-то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.

Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.

— Извозчика отпустить прикажете?

— Ах, да, — очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. — Послушай, — сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. — Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..

— Сказывали, — отвечал Герасим.

— Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу...

— Слушаюсь, — сказал Герасим. — Кушать прикажете?

— Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, — сказал Пьер, неожиданно покраснев.

— Слушаю-с, — подумав, сказал Герасим.

Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что-то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.

Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и оста-

павливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.

XIX

1-го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.

Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя — напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.

К десяти часам утра 2-го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2-го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26-го августа и по 2-е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2-го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и

церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

— Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte. La voilà donc enfin, cette fameuse ville! Il était temps [1], — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupée par l'ennemi ressemble à une fille qui a perdu son honneur» [2], — думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? — подумал он. — Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! — думал он о своих войсках. — Вот она, награда для всех этих маловерных, — думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. — Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus [3]. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, —

---

[1] Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!

[2] Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.

[3] царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.

вдруг приходило ему в голову. — Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, — да, это Кремль, да, — я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре — скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»

— Qu'on m'amène les boyards[1], — обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни réunion dans le palais des Czars[2], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари.

---

[1] Приведите бояр.
[2] собраний во дворце царей.

И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о *ma chère, ma tendre, ma pauvre mère* [1], он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dédié à ma chère Mère. Нет, просто: Maison de ma Mère [2], — решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» — думал он.

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [3] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.

— Il faudra le lui dire tout de même... — говорили господа свиты. — Mais, messieurs... [4] — Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.

— Mais c'est impossible... [5] — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule...

Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных

---

[1] *моей милой, нежной, бедной матери. — Ред.*

[2] Учреждение, посвященное моей милой матери... Дом моей матери.

[3] смешным. — *Ред.*

[4] Однако же надо сказать ему... Но, господа...

[5] Но неловко... Невозможно...

сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер-коллежского вала, ожидая депутации.

XX

Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей.

В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.

Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, — ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы-грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые

пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, — сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.

Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы — черные пчелы — шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое-где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где-нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, — остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает

мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.

Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, — депутации.

В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.

Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.

— Подать экипаж, — сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.

— «Moscou déserte. Quel événement invraisemblable!» [1] — говорил он сам с собой.

Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.

Le coup de théâtre avait raté [2].

XXI

Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.

Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.

В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому-то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково-приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и

---

[1] «Москва пуста. Какое невероятное событие!»
[2] Не удалась развязка театрального представления.

пестрой женской толпы покупателей — одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда-то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат-грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно-серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем-то говорили. Третий офицер подскакал к ним.

— Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что ж, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.

— Ты куда?.. Вы куда?.. — крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. — Стой, канальи!

— Да, вот извольте их собрать! — отвечал другой офицер. — Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!

— Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?

— Да подите же туда! Гони ж их вон! — крикнул старший офицер.

Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с покойно-непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.

— Ваше благородие, — сказал он, — сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому что мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы...

Несколько купцов столпилось около офицера.

— Э! попусту брехать-то! — сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. — Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! — И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.

— Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, — сердито заговорил первый купец. — Вы пожалуйте, ваше благородие.

— Что говорить! — крикнул худощавый. — У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!

— Пожалуйте, ваше благородие, — говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его была видна нерешительность.

— Да мне что за дело! — крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.

Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.

— Что такое? Что такое? — спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.

XXII

В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое-где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.

— Вот ловко-то! А? Дядюшка Игнат! — говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.

— Ишь ты! — отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.

— Бессовестные! Право, бессовестные! — заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. — Эка, толсторожий, зубы-то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!

Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.

— Тетенька, я полегоньку, — сказал мальчик.

— Я те дам полегоньку. Постреленок! — крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. — Иди деду самовар ставь.

Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.

Выйдя во двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель, или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?

В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.

Мавра Кузминишна подошла к калитке.

— Кого надо?

— Графа, графа Илью Андреича Ростова.

— Да вы кто?

— Я офицер. Мне бы видеть нужно, — сказал русский приятный и барский голос.

Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.

— Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, — ласково сказала Мавра Кузминишна.

Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.

— Ах, какая досада!.. — проговорил он. — Мне бы вчера... Ах, как жалко!..

Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.

— Вам зачем же графа надо было? — спросила она.

— Да уж... что делать! — с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.

— Видите ли? — вдруг сказал он. — Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа...

Мавра Кузминишна не дала договорить ему.

— Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, — сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.

В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» — думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из-за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.

— Были бы их сиятельства дома, известно, они бы, точно, по-родственному, а вот может... теперича... — Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну.— Как бы граф дома были,— извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна.— Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог,— говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.

А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.

XXIII

В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что-то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что-то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.

— Шабаш! — крикнул он повелительно. — Драка, ребята! — И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.

Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.

Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.

Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.

Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:

— Ребята! наших бьют!

В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:

— Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..

— Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! — завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.

— Мало ты народ-то грабил, рубахи снимал, — сказал чей-то голос, обращаясь к целовальнику, — что ж ты человека убил? Разбойник!

Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.

— Душегуб! — вдруг крикнул он на целовальника. — Вяжи его, ребята!

— Как же, связал одного такого-то! — крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое-то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.

— Порядок-то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать-то нонче никому не велят! — прокричал целовальник, поднимая шапку.

— И пойдем, ишь ты! И пойдем... ишь ты! — повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.

У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.

— Он народ разочти как следует! — говорил худой мастеровой с жидкой бородкой и нахмуренными бровями. — А что ж, он нашу кровь сосал — да и квит. Он нас водил, водил — всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.

Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.

— Куда идет народ-то?

— Известно куда, к начальству идет.

— Что ж, али взаправду наша не взяла сила?

— А ты думал как! Гляди-ко, что народ говорит.

Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.

Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него-то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.

— Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? — говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.

— Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить-то мало ли их.

— Что пустое говорить! — отзывалось в толпе. — Как же, так и бросят Москву-то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ-то бает, — говорили, указывая на высокого малого.

У стены Китай-города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

— Указ, указ читают! Указ читают! — послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31-го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до

него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, — читал он (светлеющему! — торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), — чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух... — продолжал чтец и остановился («Видал? — победоносно прокричал малый. — Он тебе всю дистанцию развяжет...»)... — искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».

Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

— У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж... Он укажет... — вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.

Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.

— Что за народ? — крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. — Что за народ? Я вас спрашиваю? — повторил полицеймейстер, не получавший ответа.

— Они, ваше благородие, — сказал приказный во фризовой шинели, — они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа...

— Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, — сказал полицеймейстер. — Пошел! —сказал он

кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.

Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что-то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.

— Обман, ребята! Веди к самому! — крикнул голос высокого малого. — Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! — закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.

Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

— Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! — слышалось чаще в толпе.

XXIV

Вечером 1-го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, — огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, — граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.

Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillité à Moscou et d'en faire partir les habitants[1]. Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? — Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? — Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Сто̀ит только допустить, что что-нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.

Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.

На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?

Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1-го, 2-го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, — ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, — ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.

Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять.

---

[1] Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.

С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства — сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассужденью, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.

Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ — это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, — патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.

Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, — тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.

Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.

«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? — думал он. — Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» — думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.

«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями... Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал... спрашивает... О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель... из желтого дома смотритель...» — всю ночь, не переставая, докладывали графу.

На все эти вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем-то и что этот кто-то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.

— Ну, скажи ты этому болвану, — отвечал он на запрос от вотчинного департамента, — чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади — пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.

— Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?

— Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё... А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.

На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:

— Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!

— Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.

— Верещагин! Он еще не повешен? — крикнул Растопчин. — Привести его ко мне.

XXV

К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но сто̀ит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это-то раздражало его.

Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом,

размахивая рукой, говорил что-то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

— Готов экипаж? — сказал Растопчин, отходя от окна.

— Готов, ваше сиятельство, — сказал адъютант.

Растопчин опять подошел к двери балкона.

— Да чего они хотят? — спросил он у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» — думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voilà la populace, la lie du peuple, — думал он, глядя на толпу, — la plèbe qu'ils ont soulevée par leur sottise. Il leur faut une victime» [1], — пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.

— Готов экипаж? — в другой раз спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята! — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь

---

[1] «Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва».

француз... он тебе всю дистанцию развяжет!» — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно-быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! — Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

— Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, — этот человек, Верещагин — тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной

тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, — говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: — Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю! — Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

— Граф!.. — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один бог над нами... — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

«А!» — коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О господи!» — послышалось чье-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

«Топором-то бей, что ли?.. задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живущ... по делам вору мука. Запором-то!.. Али жив?»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на

то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О господи, народ-то что зверь, где же живому быть! — слышалось в толпе. — И малый-то молодой... должно, из купцов, то-то народ!.. сказывают, не тот... как же не тот... О господи... Другого избили, говорят, чуть жив... Эх, народ... Кто греха не боится...» — говорили теперь те же люди, с болезненно-жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачивалась, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.

В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

— Ваше сиятельство, сюда... куда изволите?.. сюда пожалуйте, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, — думал он по-французски. — Ils sont comme les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair» [1]. «Граф! один бог над нами!» — вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но

[1] Народная толпа страшна, она отвратительна. Они, как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.

чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. «J'avais d'autres devoirs, — подумал он. — Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique» [1], — и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, — не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [2]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. «Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait été tout autrement tracé [3], но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего».

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [4], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим à propos [5] — наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, — думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). — Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным,

---

[1] У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.

[2] общественного блага.

[3] путь мой был бы совсем иначе начертан.

[4] общественное благо.

[5] удобным случаем.

и потом je faisais d'une pierre deux coups;[1] я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные и колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что-то крича и размахивая руками.

Один из них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам.

— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями и жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

— Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну. Растерзали мое тело. Царствие

---

[1] одним камнем делал два удара.

божие разрушится... Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

— Пош... пошел скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов: «Руби его, вы головой ответите мне!» — «Зачем я сказал эти слова! Как-то нечаянно сказал... Я мог не сказать их (думал он): тогда *ничего* бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе... «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plèbe, le traître... le bien publique» [1], — думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по-французски говорить ему что-то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

— Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! — сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно уси-

---

[1] Чернь, злодей... общественное благо.

ливался прочесть что-то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:

— Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.

XXVI

В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.

Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость *«le Kremlin»*.

Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.

— Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! — слышались тихие голоса.

Переводчик подъехал к кучке народа.

— Шапку-то сними... шапку-то, — заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.

Мюрат подвинулся к переводчику и велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.

— Хорошо, — сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.

Артиллерия на рысях выехала из-за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из-под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.

Послышалось еще три выстрела из ворот.

Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из-за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!» [1], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.

Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из-за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! — повторил

---

[1] пали!

артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.

За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.

— Enlevez-moi ça [1], — сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez-moi ça», — сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces misérables avaient envahi la citadelle sacrée, s'étaient emparés des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces misérables) sur les Français. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur présence» [2].

Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.

Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.

Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до $^1/_3$ части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не

---

[1] Уберите это.

[2] Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями и очистили Кремль от их присутствия.

составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.

В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры, люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.

Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты-кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все-таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами.

Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.

Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme féroce de Rastopchine;[1] русские — изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли, или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях — владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стóит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличи-

[1] дикому патриотизму Растопчина. — *Ред.*

вается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme féroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей — не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба-соли и ключей французам, а выехали из нее.

XXVII

Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2-го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.

Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.

Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, не в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа

Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, — а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием *они*. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой — как он знал — народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенного и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялась и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти *зверя*, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.

Когда, купив кафтан (с целью только участвовать в народной защите Москвы), Пьер встретил Ростовых и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» — в голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже ежели бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено.

На другой день он, с одною мыслию не жалеть себя и не отставать ни в чем от *них*, ходил с народом за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и не-

избежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона.

Пьер знал все подробности покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809-м году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его.

Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия, то чувство, вследствие которого он 25-го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и, вместо привычной роскоши и удобств жизни, спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом; другое — было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, — все это ежели и сто́ит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.

Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет сто́ить ему его последних денег; то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью.

С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживало в его намерении и лишало возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, — все потеряло бы не только смысл, но все это

было бы презренно и смешно (к чему Пьер был чувствителен), ежели бы он после всего этого, так же как и другие, уехал из Москвы.

Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, — все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству.

Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но, вместо того чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество.

«Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! — думал он. — Да, я подойду... и потом вдруг... Пистолетом или кинжалом? — думал Пьер. — Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня», — говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.

В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.

— Они оробели, — сказал он хриплым, доверчивым голосом. — Я говорю: не сдамся, я говорю... так ли, господин? — Он задумался и вдруг, увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.

Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел

на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплым голосом, видимо, себе воображая что-то торжественное.

— К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! — кричал он.

— Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин... — говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.

— Ты кто? Бонапарт!.. — кричал Макар Алексеич.

— Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.

— Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? — кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. — На абордаж!

— Берись, — шепнул Герасим дворнику.

Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.

Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса.

Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.

— Они! Батюшки родимые!.. Ей-богу, они. Четверо, конные!.. — кричала она.

Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.

XXVIII

Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.

Их было двое. Один — офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой — очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько ша-

тов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.

— Bonjour la compagnie! [1] — весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя.

Никто ничего не отвечал.

— Vous êtes le bourgeois? [2] — обратился офицер к Герасиму.

Герасим испуганно-вопросительно смотрел на офицера.

— Quartire, quartire, logement, — сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. — Les Français sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fâchons pas, mon vieux [3], — прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.

— A ça! Dites donc, on ne parle donc pas français dans cette boutique? [4] — прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.

Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.

— Барин нету — не понимай... моя ваш... — говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.

Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.

— На абордаж!!! — закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглуши-

---

[1] Почтение всей компании!

[2] Вы хозяин?

[3] Квартир, квартир... Французы добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка.

[4] Что ж, неужели и тут никто не говорит по-французски?

вший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.

Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по-французски заговорил с ним.

— Vous n'êtes pas blessé? — сказал он.

— Je crois que non, — отвечал офицер, ощупывая себя, — mais je l'ai manqué belle cette fois-ci, — прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. — Quel est cet homme? [1] — строго взглянув на Пьера, сказал офицер.

— Ah, je suis vraiment au désespoir de ce qui vient d'arriver [2], — быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. — C'est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu'il faisait [3].

Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его зá ворот.

Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.

— Brigand, tu me la payeras, — сказал француз, отнимая руку.

— Nous autres nous sommes cléments après la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traîtres [4], — прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.

Пьер продолжал по-французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически-нежное выражение, и он протянул руку.

— Vous m'avez sauvé la vie! Vous êtes Français [5], — сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m-r Ramball'я, capitaine du 13-me léger [6] — было, без сомнения, самым великим делом.

---

[1] — Вы не ранены?
— Кажется, нет... но на этот раз близко было. Кто этот человек?

[2] Ах, я, право, в отчаянии от того, что случилось.

[3] Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал.

[4] Разбойник, ты мне поплатишься за это. Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам.

[5] Вы спасли мне жизнь. Вы француз.

[6] мосье Рамбаля, капитана 13-го легкого полка.

Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.

— Je suis Russe [1], — быстро сказал Пьер.

— Ти-ти-ти, à d'autres [2], — сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. — Tout à l'heure vous allez me conter tout ça, — сказал он. — Charmé de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu'allons nous faire de cet homme? [3] — прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.

Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.

— Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes Français. Vous me demandez sa grâce? Je vous l'accorde. Qu'on emmène cet homme [4], — быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.

Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.

— On vous demandera quand on aura besoin de vous [5], — сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.

— Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, — сказал он. — Faut-il vous l'apporter?

— Oui, et le vin [6], — сказал капитан.

---

[1] Я русский.

[2] рассказывайте это другим.

[3] Сейчас вы мне все это расскажете. Очень приятно встретить соотечественника. Ну! что же нам делать с этим человеком?

[4] Вы спасли мне жизнь. Вы француз. Вы хотите, чтоб я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека.

[5] Когда будет нужно, вас позовут.

[6] Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?

— Да, и вино.

XXIX

Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.

Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько-нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.

—Français ou prince russe incognito [1], — сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. — Je vous dois la vie je vous offre mon amitié. Un Français n'oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitié. Je ne vous dis que ça [2].

В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства (во французском смысле), что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.

— Capitaine Ramball du treizième léger, decoré pour l'affaire du Sept [3], — отрекомендовался он с самодовольной, неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. — Voudrez vous bien me dire à présent, à qui j'ai l'honneur de parler aussi agréablement au lieu de rester à l'ambulance avec la balle de ce fou dans le çorps [4].

Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и,

---

[1] Француз или русский князь инкогнито.

[2] Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю.

[3] Капитан Рамбаль, тринадцатого легкого полка, кавалер Почетного легиона за дело седьмого сентября.

[4] Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем я имею честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?

покраснев, начал было, пытаясь выдумать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.

— De grâce, — сказал он. — Je comprends vos raisons, vous êtes officier... officier supérieur, peut-être. Vous avez porté les armes contre nous. Ce n'est pas mon affaire. Je vous dois la vie. Cela me suffit. Je suis tout à vous. Vous êtes gentilhomme? [1] — прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. — Votre nom de baptême, s'il vous plaît? Je ne demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites vous... Parfait. C'est tout ce que je désire savoir [2].

Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде и тотчас сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая excellent, exquis! [3] Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас limonade de cochon (свиной лимонад), и Морель хвалил этот limonade de cochon, который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышко в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он не переставая разговаривал во время обеда.

— Oui, mon cher monsieur Pierre, je vous dois une fière chandelle de m'avoir sauvé... de cet enragé... J'en ai assez, voyez-vous, de balles dans le corps. En voilà une (он показал на бок) à Wagram et de deux à Smolensk, — он показал шрам, который был на щеке. —Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est à la grande

---

[1] Полноте, пожалуйста. Я понимаю вас, вы офицер... штаб-офицер, может быть. Вы служили против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Мне этого довольно, и я весь ваш. Вы дворянин?

[2] Ваше имя? я больше ничего не спрашиваю. Господин Пьер, вы сказали? Прекрасно. Это все, что мне нужно.

[3] чудесно, превосходно!

bataille du 7 à la Moskowa que j'ai reçu ça. Sacré dieu, c'était beau. Il fallait voir ça, c'était un déluge de feu. Vous nous avez taillé une rude besogne; vous pouvez vous en vanter, nom d'un petit bonhomme. Et, ma parole, malgré l'atoux que j'y ai gagné, je serais prêt à recommencer. Je plains ceux qui n'ont pas vu ça.

— J'y ai été [1], — сказал Пьер.

— Bah, vraiment! Eh bien, tant mieux, — сказал француз. — Vous êtes de fiers ennemis, tout de même. La grande redoute a été tenace, nom d'une pipe. Et vous nous l'avez fait crânement payer. J'y suis allé trois fois, tel que vous me voyez. Trois fois nous étions sur les canons et trois fois on nous a culbuté et comme des capucins de cartes. Oh! c'était beau, monsieur Pierre. Vos grenadiers ont été superbes, tonnerre de Dieu. Je les ai vu six fois de suite serrer les rangs, et marcher comme à une revue. Les beaux hommes! Notre roi de Naples, qui s'y connait a crié: bravo! Ah, ah! soldat comme nous autres! — сказал он, улыбаясь, после минутного молчания. — Tant mieux, tant mieux, monsieur Pierre. Terribles en bataille... galants... — он подмигнул с улыбкой, — avec les belles, voilà les Français, monsieur Pierre, n'est ce pas? [2]

До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть-чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «galant» навело капитана на мысль о положении Москвы.

---

[1] Да, мой любезный, господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку за то, что вы спасли меня от этого бешеного. С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна под Ваграмом, другая под Смоленском. А эта нога, вы видите, которая не хочет двигаться. Это при большом сражении 7-го под Москвою. О! это было чудесно! Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И ей-богу, несмотря на этот козырь (он указал на крест), я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого.

— Я был там.

[2] Ба, в самом деле? Тем лучше. Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми. И дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там три раза был, как вы меня видите. Три раза мы были на пушках, три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей-богу. Я видел, как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ! Наш Неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им: браво! — Га, га, так вы наш брат солдат! — Тем лучше, тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях, любезны с красавицами, вот французы, господин Пьер. Не правда ли?

— A propos, dites donc, est-ce vrai que toutes les femmes ont quitté Moscou? Une drôle d'idée! Qu'avaient-elles à craindre?

— Est ce que les dames françaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? [1] — сказал Пьер.

— Ah, ah, ah!.. — Француз весело сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. — Ah! elle est forte celle-là, — проговорил он. — Paris?.. Mais Paris... Paris...

— Paris la capitale du monde... [2] — сказал Пьер, доканчивая его речь.

Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися, ласковыми глазами.

— Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit que vous êtes Russe, j'aurai parié que vous êtes Parisien. Vous avez ce je ne sais, quoi, ce... [3] — и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.

— J'ai été à Paris, j'y ai passé des années, — сказал Пьер.

— Oh ça se voit bien. Paris!.. Un homme qui ne connait pas Paris, est un sauvage. Un Parisien, ça se sent à deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschénois, Potier, la Sorbonne, les boulevards, — и заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: — Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez été à Paris et vous êtes resté Russe. Eh bien, je ne vous en estime pas moins [4].

Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.

— Pour en revenir à vos dames, on les dit bien belles.

---

[1] Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Странная мысль, чего они боялись?

— Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него?

[2] Ха, ха, ха!.. А вот сказал штуку. Париж?.. Но Париж... Париж...

— Париж — столица мира...

[3] Ну, если б вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин. В вас что-то есть, эта...

[4] Я был в Париже, я провел там целые годы.

— О, это видно. Париж!.. Человек, который не знает Парижа, — дикарь. Парижанина узнаешь за две мили. Париж — это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары... Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю.

Quelle fichue idée d'aller s'enterrer dans les steppes, quand l'armée française est à Moscou. Quelle chance elles ont manqué celles-là. Vos moujiks c'est autre chose, mais vous autres gens civilisés vous devriez nous connaître mieux que ça. Nous avons pris Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, toutes les capitales du monde... On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons à connaître. Et puis l'Empereur [1], —начал он, но Пьер перебил его.

— L'Empereur, — повторил Пьер, и лицо его вдруг приняло грустное и сконфуженное выражение. — Est-ce que l'Empereur?.. [2]

— L'Empereur? C'est la générosité, la clémence, la justice, l'ordre, le génie, voilà l'Empereur! C'est moi, Ramball, qui vous le dit. Tel que vous me voyez, j'étais son ennemi il y a encore huit ans. Mon père a été comte émigré... Mais il m'a vaincu, cet homme. Il m'a empoigné. Je n'ai pas pu résister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, quand j'ai vu qu'il nous faisait une litière de lauriers, voyez vous, je me suis dit: voilà un souverain, et je me suis donné à lui. Eh voilà! Oh, oui, mon cher, c'est le plus grand homme des siècles passés et à venir.

— Est-il à Moscou? [3] — замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.

Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.

— Non, il fera son entrée demain [4], — сказал он и продолжал свои рассказы.

---

[1] Но воротимся к вашим дамам: говорят, что они очень красивы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве! Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы — люди образованные — должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император...

[2] Император... Что император?

[3] Император? Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений — вот что такое император! Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад восемь лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек. Он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложе лавров, я сказал себе: вот государь, и я отдался ему. И вот! О да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.

— Что, он в Москве?

[4] Нет он сделает свой въезд завтра.

Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали виртембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно оттого, что гусары не понимали того, что им говорили.

Капитан велел позвать к себе старшего унтер-офицера и строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по-французски, назвал свой полк и своего начальника; но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему велено от начальника занимать все дома подряд. Пьер, знавший по-немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по-немецки виртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие-то приказания.

Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему, — как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно-мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея; но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? — он не знал, но предчувствовал как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека.

Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что-то, вошел в комнату.

Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов — все казалось теперь оскорбительным Пьеру.

«Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», — думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое-то странное чувство слабости приковало его к своему месту: он хотел и не мог встать и уйти.

Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате. Глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой-то забавной выдумке.

— Charmant, — сказал он вдруг, — le colonel de ces Wurtembourgeois! C'est un Allemand; mais brave garçon, s'il en fut. Mais Allemand [1].

Он сел против Пьера.

— A propos, vous savez donc l'allemand, vous? [2]

Пьер смотрел на него молча.

— Comment dites-vous asile en allemand? [3]

— Asile? — повторил Пьер. — Asile en allemand — Unterkunft [4].

— Comment dites-vous? [5] — недоверчиво и быстро переспросил капитан.

— Unterkunft, — повторил Пьер.

— Onterkoff, — сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. — Les Allemands sont de fières bêtes. N'est ce pas, monsieur Pierre? [6] — заключил он.

— Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeau Moscovite, n'est ce pas? Morel, va nous chauffer encore une petite bouteille. Morel! [7] — весело крикнул капитан.

Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним

---

[1] Прелестно, полковник этих вюртембергцев! Он немец; но славный малый, несмотря на это. Но немец.

[2] Кстати, вы, стало быть, знаете по-немецки?

[3] Как по-немецки убежище?

[4] Убежище? Убежище — по-немецки — Unterkunft.

[5] Как вы говорите?

[6] Экие дурни эти немцы. Не правда ли, мосье Пьер?

[7] Ну, еще бутылочку этого московского Бордо, не правда ли? Морель согреет нам еще бутылочку. Морель!

огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.

— Eh bien, nous sommes tristes [1], — сказал он, трогая Пьера за руку. — Vous aurai-je fait de la peine? Non, vrai, avez-vous quelque chose contre moi, — переспрашивал он. — Peut-être rapport à la situation? [2]

Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.

— Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de l'amitié pour vous. Puis-je faire quelque chose pour vous? Disposez de moi. C'est à la vie et à la mort. C'est la main sur le cœur que je vous le dis [3], — сказал он, ударяя себя в грудь.

— Merci, —сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по-немецки, и лицо его вдруг просияло.

— Ah! dans ce cas je bois à notre amitié! [4] — весело крикнул он, наливая два стакана вина. Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво-меланхолической позе облокотился на стол.

— Oui, mon cher ami, voilà les caprices de la fortune, — начал он. — Qui m'aurait dit que je serai soldat et capitaine de dragons au service de Bonaparte, comme nous l'appellions jadis. Et cependant me voilà à Moscou avec lui. Il faut vous dire, mon cher, — продолжал он грустным и мерным голосом человека, который сбирается рассказывать длинную историю, — que notre nom est l'un des plus anciens de la France [5].

И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственные,

---

[1] Что же это, мы грустны?

[2] Может, я огорчил вас? Нет, в самом деле, не имеете ли вы что-нибудь против меня? Может быть, касательно положения?

[3] Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце.

[4] А, в таком случае пью за нашу дружбу!

[5] Да, мой друг, вот колесо фортуны. Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его, бывало, называли. Однако же вот я в Москве с ним. Надо вам сказать, мой милый... что имя наше одно из самых древних во Франции.

имущественные, семейные отношения. «Ma pauvre mère» [1] играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.

— Mais tout ça ce n'est que la mise en scène de la vie, le fond c'est l'amour! L'amour! N'est ce pas, monsieur Pierre? — сказал он, оживляясь. — Encore un verre [2].

Пьер опять выпил и налил себе третий.

— Oh! les femmes, les femmes! [3] — и капитан, замаслившимися глазами глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви, и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его.

Очевидно было, что l'amour, которую так любил француз, была ни та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда-то к своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе (оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал — одна была l'amour des charretiers, другая l'amour des nigauds); [4] l'amour, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинации уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству.

Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной тридцатипятилетней маркизе и в одно и то же время к прелестному невинному, семнадцатилетнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он (любовник) роль мужа, и несколько

---

[1] «Моя бедная мать».

[2] Но все это есть только вступление в жизнь, сущность же ее — это любовь. Любовь! Не правда ли, мосье Пьер? Еще стаканчик.

[3] О! женщины, женщины!

[4] любовь извозчиков, другая — любовь дурней.

комических эпизодов из souvenirs d'Allemagne, где asile значит Unterkunft, где les maris mangent de la choux croute и где les jeunes filles sont trop blondes [1].

Наконец последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку (вообще в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно) и поляк этот вверил ему свою обворожительную жену (Parisienne de cœur [2]), в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним; но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauvé la vie et je sauve vorte honneur!» [3] Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании.

Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему-то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что-то очень значительное и поэтическое.

«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», — слышал он теперь сказанные ею слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос... и что-то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.

Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он

---

[1] воспоминаний о Германии, где мужья едят капустный суп и где молодые девушки слишком белокуры.

[2] парижанку сердцем.

[3] Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь!

подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.

Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.

— Tiens! [1] — сказал капитан.

Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?

Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все-таки просит продолжать.

— L'amour platonique, les nuages... [2] — пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и маслеными глазами, глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, — свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.

Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.

Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот

---

[1] Вишь ты!
[2] Платоническая любовь, облака...

стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.

Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.

Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» — подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.

Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.

XXX

На зарево первого занявшегося 2-го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.

Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1-го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.

В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.

Один из людей в темноте ночи, из-за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое

зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.

— А ведь это, братцы, другой пожар, — сказал денщик.

Все обратили внимание на зарево.

— Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.

— Они! Нет, это не Мытищи, это дале.

— Глянь-ка, точно в Москве.

Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.

— Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.

Несколько людей присоединились к первым.

— Вишь, полыхает, — сказал один, — это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.

Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.

Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.

— Ты чего не видал, шалава... Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.

— Да я только за водой бежал, — сказал Мишка.

— А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? — сказал один из лакеев.

Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.

— Помилуй бог!.. ветер да сушь... — опять сказал голос.

— Глянь-ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!

— Потушат небось.

— Кому тушить-то? —послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. — Москва и есть, братцы, — сказал он, — она матушка белока... — Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.

XXXI

Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством: он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)

Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.

— Ах, какой ужас! — сказала, со двора возвратившись, иззябшая и испуганная Соня. — Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, — сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.

— Посмотри, Наташа, как ужасно горит, — сказала Соня.

— Что горит? — спросила Наташа. — Ах, да, Москва.

И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

— Да ты не видела?

— Нет, право, я видела, — умоляющим о спокойствии голосом сказала она.

И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.

Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее

головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.

— Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, — сказала она.

— Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, — сказала Наташа.

С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что, сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь, — это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее.

— Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m-me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)

— Нет, мама, я лягу тут, на полу, — сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.

— Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, — сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. — Ну, ложись же.

— Ах, да... Я сейчас, сейчас лягу, — сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать

ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.

— Наташа, ты в середину ляг, — сказала Соня.

— Нет, я тут, — проговорила Наташа. — Да ложитесь же, — прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.

Графиня, m-me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.

Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m-me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.

— Кажется, спит, мама, — тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.

Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из-под одеяла, зябла на голом полу.

Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стон адъютанта. Наташа приподнялась.

— Соня? ты спишь? Мама? — прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.

Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.

Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что-то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.

Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.

Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие-то человека (это были доктор и камердинер).

Камердинер приподнялся и прошептал что-то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в белой рубашке, кофте и ночном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера: «Чего вам, зачем?» — только заставили скорее Наташу подойти к тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.

Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она

никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку.

XXXII

Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с бо̀льшими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.

Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что-то понять и припомнить.

— Не хочу больше. Тимохин тут? — спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.

— Я здесь, ваше сиятельство.

— Как рана?

— Моя-то-с? Ничего. Вот вы-то? — Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что-то.

— Нельзя ли достать книгу? — сказал он.

— Какую книгу?

— Евангелие! У меня нет.

Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем-то очень остался недоволен, что-то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.

— И что это вам стоит! — говорил он. — У меня ее нет, — достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, — говорил он жалким голосом.

Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.

— Ах, бессовестные, право, — говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. — Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.

— Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, — говорил камердинер.

В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. Потому-то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто-то

кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, и осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.

Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.

«Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, — думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?..» И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется! тянется! растягивается и все тянется», — говорил

себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.

«Но, может быть, это моя рубашка на столе, — думал князь Андрей, — а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити-пити-пити и ти-ти — и пити-пити-пити...» — Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, — тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.

«Да, любовь (думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить — любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого-то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он... Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать...»

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударилась муха... И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что-то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка-сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.

«О, как тяжел этот неперестающий бред!» — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то.

Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.

— Вы? — сказал он. — Как счастливо!

Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.

— Простите! — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. — Простите меня!

— Я вас люблю, — сказал князь Андрей.

— Простите...

— Что простить? — спросил князь Андрей.

— Простите меня за то, что я сде...лала, — чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.

— Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.

Петр-камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.

— Это что такое? — сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. — Извольте идти, сударыня.

В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.

Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.

С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.

Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.

XXXIII

Пьер проснулся 3-го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего-то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.

Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.

«Уж не опоздал ли я? — подумал Пьер. — Нет, вероятно, *он* сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.

Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», — сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.

Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.

Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.

Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в вообра-

жении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно-робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно-сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно и любопытно смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что-то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по-французски?

Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что-то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь — наученный опытом прошлой ночи — как-нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были быть приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное — не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.

Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но

инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.

По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языки из-за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что-то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.

В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что-то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи-няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из-под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из-под них какие-то одеяния.

Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.

— Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто-нибудь помогите, — выговаривала она сквозь рыдания. — Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О-о-оо! для того я тебя леле... О-о-оо!

— Полно, Марья Николаевна, — тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. — Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? — прибавил он.

— Истукан! Злодей! — злобно закричала женщина,

вдруг прекратив плач. — Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек,— скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. — Загорелось рядом, — бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили... Вот что захватили... Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О-о-о! — и опять она зарыдала. — Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!

— Да где, где же она осталась? — сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.

— Батюшка! Отец! — закричала она, хватая его за ноги. — Благодетель, хоть сердце мое успокой... Аниска, иди, мерзкая, проводи, — крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.

— Проводи, проводи, я... я... сделаю я, — запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.

Грязная девка вышла из-за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени коегде вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что-то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.

— On ne passe pas [1], — крикнул ему голос.

— Сюда, дяденька! — проговорила девка. — Мы переулком, через Никулиных пройдем.

Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.

— Вот тут сейчас, — сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горев-

---

[1] Тут не проходят.

ний светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из-под отверстий окон и из-под крыши.

Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.

— Который, который ваш дом? — спросил он.

— О-о-ох! — завыла девка, указывая на флигель. — Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о-ох! — завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.

Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольно описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что-то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.

Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато-золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера потому, что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего-то тяжелого, упавшего подле него.

Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими-то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.

— Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui-là [1], — крикнул один из французов на Пьера.

[1] Этому что еще надо.

— Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [1] — сказал Пьер.

— Tiens, qu'est ce qu'il chante celui-là? Va te promener [2], — послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.

— Un enfant? — закричал сверху француз. — J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut-être c'est son moutard au bonhomme. Faut être humain, voyez-vous...

— Où est-il? Où est-il? [3] — спрашивал Пьер.

— Par ici! Par ici! [4] — кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. — Attendez, je vais descendre [5].

И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким-то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.

— Dépêchez-vous, vous autres, — крикнул он своим товарищам, — commence à faire chaud [6].

Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.

— Voilà votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, — сказал француз. — Au revoir, mon gros. Faut être humain. Nous sommes tous mortels, voyez-vous [7], — и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.

Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно-болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно-злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их.

---

[1] Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?

[2] Этот что еще толкует? Убирайся к черту.

[3] — Ребенок? Я слышал, что-то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди...

— Где он? Где он?

[4] — Сюда, сюда!

[5] Погодите, я сейчас сойду.

[6] Эй, вы, живее, припекать начинает.

[7] Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди.

Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому-нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.

XXXIV

Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого-то. Пьеру казалось, что ему что-то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что-то трогательно-невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.

На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди

раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко-лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно-большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все-таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.

Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.

— Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок-то? — спрашивали у него.

Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине в черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.

— Ведь это Анферовы должны быть, — сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. — Господи помилуй, господи помилуй, — прибавил он привычным басом.

— Где Анферовы! — сказала баба. — Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.

— Он говорит — женщина, а Марья Николавна — барыня, — сказал дворовый мужик.

— Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, — говорил Пьер.

— И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки-то эти налетели, — сказала баба, указывая на французских солдат.

— О, господи помилуй, — прибавил опять дьякон.

— Вы пройдите вот туда-то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, — сказала опять баба. — Она и есть. Вот сюда-то.

Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый,

худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шинели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что-то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.

— Возьми, возьми ребенка, — проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. — Ты отдай им, отдай! — закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что-то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.

Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.

Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.

— Laissez cette femme! [1] — бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.

— Voyons, pas de bêtises! [2] — крикнул он.

Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из-за угла показался конный разъ-

---

[1] Оставьте эту женщину!
[2] Ну, ну! Не дури!

езд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.

— Il a un poignard, lieutenant[1], — были первые слова, которые понял Пьер.

— Ah, une arme![2] — сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.

— C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre[3], — сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: — Parlez-vous français vous?[4]

Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что-то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.

— Parlez-vous français? — повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. — Faites venir l'interprête[5]. — Из-за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.

— Il n'a pas l'air d'un homme du peuple[6], — сказал переводчик, оглядев Пьера.

— Oh, oh! ça m'a bien l'air d'un des incendiaires, — сказал офицер. —Demandez lui ce qu'il est?[7] — прибавил он.

— Ти кто? — спросил переводчик. — Ти должно отвечать начальство, — сказал он.

— Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez-moi[8], — вдруг по-французски сказал Пьер.

— Ah, Ah! — проговорил офицер, нахмурившись. — Marchons![9]

---

1 Поручик, у него кинжал.
2 А, оружие!
3 Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь.
4 Говоришь ли по-французски?
5 Позовите переводчика.
6 Он не похож на простолюдина.
7 О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?
8 Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня.
9 А! А! Ну, марш!

Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.

— Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? — сказала она. — Девочку-то, девочку-то куда я дену, коли она не ихняя! — говорила баба.

— Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [1] — спросил офицер.

Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.

— Ce qu'elle dit? — проговорил он. — Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, — проговорил он. — Adieu! [2] — и он, сам не зная, как вырвалось у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.

Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.

---

[1] Чего ей нужно?

[2] Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!



ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 8. *...континентальная система...* — В конце 1806 года Наполеон объявил так называемым Берлинским декретом запрещение торговать с Англией (чтобы экономически блокировать ее). Запрещение распространилось не только на Францию, но и на все союзные и покоренные европейские государства. Россией континентальная блокада была принята в мае 1809 года, но уже к осени того же года начались ее нарушения.

Стр. 11. *...движение войск в Пруссию... чтобы достигнуть вооруженного мира...* — В 1811 году, готовясь к войне с Россией, Наполеон стремился заключить союз с Пруссией. Пруссия колебалась. По плану, разработанному Даву и представленному Наполеону 25 ноября 1811 года, началось передвижение войск к границам Пруссии. Наполеон дал маршалу Даву инструкцию: по первому знаку — армии войти в Пруссию и занять ее. В феврале 1812 года в Париже было подписано соглашение, по которому Пруссия обязывалась принимать участие на стороне Наполеона во всех его войнах.

...почести в Дрездене... — В мае 1812 года Наполеон находился в Дрездене, окруженный своими новыми союзниками: императором австрийским, королем прусским, королем саксонским и др. Выехал из Дрездена 17(29) мая. «Эти дрезденские торжества, этот огромный съезд вассальных монархов, — пишет Е. Тарле, — все это имело смысл грандиозной антирусской демонстрации» (Е. В. Тарле. Сочинения в 12-ти томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 471).

Стр. 12. *...нежно обняв императрицу Марию-Луизу, как говорит его историк...* — А. Тьер в «Истории консульства и империи»: «Histoire du Consulat et de l'Empire», v. XIII. Paris, 1856, p. 533.

...В Париже оставалась другая супруга... — Жозефина Богарне (1763—1814), которая в 1804 году была коронована как французская императрица. В 1809 году Наполеон развелся с нею, женившись на Марии-Луизе, дочери австрийского императора.

...10-го июня он догнал армию... — Дата — по старому стилю.

Стр. 15. *...подозвав к себе Бертье...* — Маршал Л.-А. Бертье (1753—1815), владетельный князь Невшательский, до 1814 года начальник штаба армии Наполеона.

Стр. 16. *В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий...* — Главнокомандующим первой западной армией был М. Б. Барклай де Толли, второй западной армией — П. И. Багратион, третьей резервной армией, защищавшей южную Россию, — А. П. Тормасов.

Стр. 17. *...генерал-адъютант Балашев...* — А. Д. Балашев (1770—1837) в 1812 году был министром полиции и членом Государственного совета; сопровождал Александра I в Вильну.

Стр. 18. *...послал за секретарем Шишковым...* — Писатель и адмирал А. С. Шишков (1754—1841) с марта 1812 года, после высылки Сперанского, стал государственным секретарем. Автор царских манифестов 1812 года.

...рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову... — Генерал-фельдмаршал Н. И. Салтыков (1736—1816), в 1812 году — председатель Государственного совета и комитета министров.

Стр. 19. *...князь Куракин потребовал свои паспорты.* — Русский посол в Париже А. Б. Куракин (1752—1818), убежденный сторонник союза с Францией, вел переговоры о заключении конвенции по спорным вопросам. В нотах французскому министру иностранных дел Маре он излагал требования Александра I: эвакуация войск из заэльбских провинций Пруссии, вывод их из Померании и Данцига, право России на торговлю с нейтральными странами. Переговоры ни к чему не привели, и 29 апреля (11 мая) 1812 года Куракин затребовал паспорты для себя и всего персонала посольства. Этим незамедлительно воспользовалась французская дипломатия. 25 июня Александр I сообщил Балашеву о получении ноты французского правительства, в которой «изъяснено, что как наш посол князь Куракин неотступно требовал два раза в один день паспортов ехать из Франции, то сие принимается за разрыв и повелевается равномерно и графу Лористону просить паспортов и ехать из России. Итак, я хотя весьма слабую, но вижу причину в первый еще раз, которую берет предлогом Наполеон для войны, но и та ничтожна, потому что Куракин сделал это сам собой, а от меня не имел повеления» (Е. В. Тарле. Сочинения, т. VII, с. 477).

Стр. 26. *...мамелюка Рустана.* — Мамелюками называлась египетская конница. В 1798 году Наполеон разбил ее в битве у пирамид. Одного из мамелюков — Рустана он вывез из Египта в качестве телохранителя.

Стр. 26. *Дюрок...* — Маршал двора Ж. Дюрок (1772—1813); сопровождал Наполеона во всех его походах 1805—1813 годов. Был его первым адъютантом, затем министром двора.

Стр. 30. *...вы заключили мир с турками?* — Кутузову после блестящей победы под Рущуком (22 июня 1811 г.), взятия крепостей Туртукай и Силистрии (10 и 11 октября), после сдачи в плен умирающей от голода армии «верховного» визиря Ахмет-бея (26 ноября), а также после искусных дипломатических шагов удалось 16 мая 1812 года подписать в Бухаресте мирный договор с Турцией (к досаде Наполеона, который рассчитывал приковать русскую армию к военным действиям на турецком фронте). Хотя Молдавия и Валахия остались по этому договору под властью турок, к России была присоединена часть Молдавии — Бессарабия.

...я дал ему Финляндию. — См. примеч. к с. 191 пятого тома.

Стр. 31. *Штейн — прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд — развратник и интриган. Винцингероде — беглый подданный Франции, Бенигсен... должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания...* — Прусский министр Г.-Ф.-К. Штейн был изгнан по приказу Наполеона за то, что сочувствовал испанцам и стремился к освобождению Пруссии от наполеоновского ига; в 1812 году жил в России. Шведский генерал и государственный деятель Г.-М. Армфельт с 1811 года находился на русской службе в качестве неофициального советника по внешней политике в отношении Скандинавии, интриговал против Сперанского и способствовал его ссылке. В 1812 году сопровождал Александра I во время его пребывания в армии. Генерал Ф. Ф. Винценгероде оказался «подданным Франции» лишь потому, что его родина — Гессен — была включена Наполеоном в 1806 году в состав Рейнского союза, находившегося под французским протекторатом; на русской службе Винценгероде находился еще с 1797 года. Л. Л. Беннигсен, разбитый в 1807 году под Фридландом, должен был в Александре I возбуждать «ужасные воспоминания», как участник убийства Павла I.

Пфуль предлагает... — Немецкий военный теоретик Карл Людвиг Фуль (Phul, 1757—1826), с 1806 года находился на русской службе. В 1812 году по поручению Александра I составлял план военных действий против Наполеона. После неудачного проекта укрепления Дрисского лагеря был вызван в Петербург, а затем уехал в Англию.

Стр. 32. *Шведы... Их король был безумный; они переменили его и взяли другого — Бернадота... заключать союзы с Россией.* — Ж.-Б. Бернадотт был генералом, а с 1805 года маршалом наполеоновской армии. В 1810 году престарелый шведский король Карл XIII усыновил Бернадотта, и, по решению риксдага, бывший наполео-

новский маршал стал шведским престолонаследником и фактически главой государства. Правящие круги Швеции надеялись через Бернадотта с помощью Франции отвоевать у России Финляндию. Однако Бернадотт держался английской и русской ориентации. В 1812 году он заключил союзный договор с Россией, а в 1813 году — с Англией, которые обязались содействовать присоединению Норвегии к Швеции.

Стр. 32. *...ту преграду, которую Европа... позволила разрушить.* — Речь идет о тех областях, которые Россия получила в результате разделов Польши.

Стр. 33. *Бессьер...* — Маршал Ж.-Б. Бессьер (1768—1813) командовал в 1812 году гвардейской кавалерией Наполеона.

Стр. 35. *...недавнее поражение французов в Испании.* — Англо-испано-португальская армия под командованием Веллингтона перешла в начале 1812 года в наступление. В сражении с армиями Мармона (19 января 1812 г.) и Сульта (6 апреля 1812 г.) Веллингтон одержал победу.

...дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII... — Карл XII действительно хотел прорваться к Москве через Украину, но в 1709 году был разбит Петром I в битве под Полтавой, решившей исход войны Швеции с Россией. По мнению Е. В. Тарле, записка русского министра полиции генерала Балашева о его переговорах с Наполеоном «должна быть принимаема с большой осторожностью, особенно те места, где Балашев будто бы намекнул Наполеону на Испанию и упомянул о Полтаве. Министр русской полиции не блистал никогда безупречной правдивостью, и более чем вероятно, что он присочинил эти свои героические намеки уже позднее» (Е. В. Тарле. Сочинения, т. VII, с. 256). Маловероятно, чтобы Наполеон задал русскому министру полиции бессмысленный вопрос о прямой дороге на Москву, а генерал Балашев ответил своей остротой; проверить этот факт невозможно, потому что беседа с русским генералом известна лишь в записи последнего (опубликована А. И. Михайловским-Данилевским в книге «Описание Отечественной войны в 1812 году», СПб., 1839, ч. I, гл. X, и перепечатана в «Истории консульства и империи» Тьера: «Histoire de Consulat et de l'Empire», v. XIV. Paris, 1856, p. 51—60).

Стр. 36. *...всех его родных...* — Мать Александра I, Мария Федоровна, была до замужества принцессой Вюртембергской; сестра Екатерина Павловна — замужем за герцогом Ольденбургским; сестра Мария Павловна — за принцем Саксен-Веймарским.

стр. 37. *...в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим.* — После Аустерлица Кутузов, находившийся в опале, был назначен киевским военным губернатором. Когда главнокомандующий Дунайской армией Прозоровский про-

явил полную несостоятельность, в 1808 году Кутузов был вызван из Киева и сделан помощником главнокомандующего. Кутузов вскоре поссорился с Прозоровским, который вопреки его советам дал большой бой с целью овладеть Браиловым и проиграл его; но удален с Дуная был не Прозоровский, а Кутузов, назначенный литовским военным губернатором. Когда положение на Дунае было окончательно испорчено преемником Прозоровского графом Н. М. Каменским, Кутузов в марте 1811 года был назначен главнокомандующим Дунайской армией.

Стр. 45. *...законы облического движения...* — то есть законы обходного движения.

Стр. 47. *...канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.* — Председатель Государственного совета Н. П. Румянцев, в 1808 году бывший министром иностранных дел, придерживался политики сближения с Францией. В книге Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию» опубликован интересный документ, подтверждающий профранцузские симпатии русского канцлера. В докладе, представленном Наполеону 7 апреля 1810 года, французский министр иностранных дел Кадор писал: «Продажность петербургского двора никогда не подвергалась сомнениям. Эта продажность была открытой в царствования Елизаветы, Екатерины, Павла. Если же в нынешнее царствование она не так публична, если у нас есть в России несколько друзей, недоступных английским предложениям, как, например, граф Румянцев, князья Куракины, и очень небольшое число других, то не менее справедливо и то, что большинство царедворцев отчасти по привычке, отчасти из привязанности к императрице-матери, отчасти из досады на уменьшение своих доходов вследствие изменившегося денежного курса, отчасти под влиянием подкупа являются тайными сторонниками Англии» (Е. В. Тарле. Сочинения, т. VII, с. 448). Известно, что в апреле 1812 года Румянцев, пригласив к себе французского посла Лористона, заверил его, что в Вильне, как и в Петербурге, Александр будет его другом и самым верным союзником.

Стр. 50. *...полковник Мишо...* — А. Ф. Мишо де Боретур (1771—1841), военный инженер, перешедший из сардинских войск на русскую службу.

Стр. 61. *...Салтановская плотина была Фермопилами русских...* — Когда французская армия, заняв Могилев, преградила армии Багратиона, шедшей на соединение с первой армией Барклая де Толли, переход через Днепр, Багратион послал к Могилеву 15-тысячный отряд под командой Н. Н. Раевского, а сам с 30-тысячной армией пошел к Новому Быхову, где переправился через Днепр. Отряд Раевского выдержал 11(23) июля при Дашковке,

а затем между Дашковкой, Салтановкой и Новоселовым десятичасовой упорный бой с наседавшими на него пятью дивизиями корпусов Даву и Мортье. Две с половиной тысячи русских погибло в этом бою. Действия отряда Раевского сравниваются с подвигом небольшого отряда спартанцев, защищавших в 480 г. до н. э. Фермопильский горный проход против армии персидского царя Ксеркса и геройски погибших вместе со своим военачальником — царем Леонидом.

Стр. 61. *...поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей...* — Как рассказывает в своей записной книжке адъютант Раевского К. Н. Батюшков (запись от 3 мая 1817 г.), Н. Н. Раевский в разговоре с ним отрицал достоверность этой истории, «сочиненной в Петербурге» (Сочинения К. Н. Батюшкова, изд. 5-е, СПб., 1887, с. 388). Можно не сомневаться в том, что, совершив под Могилевом действительно подвиг, Раевский менее всего содействовал распространению легенд о собственной храбрости, хотя чудеса храбрости были для него обычны в тяжелые минуты боя. Вот что доносил скупой на похвалы Раевский своему начальнику Багратиону после битвы между Салтановкой и Дашковкой: «Я сам свидетель, что многие офицеры и нижние чины, получив по две раны и перевязав их, возвращались в сражение как на пир. Не могу довольно выхвалить храбрости и искусства артиллеристов: все были герои».

Стр. 67. *...адъютант графа Остермана-Толстого...* — Генерал А. И. Остерман-Толстой (1770—1857) в 1812 году командовал четвертым пехотным корпусом 1-й Западной армии. В районе Островны корпус Остермана-Толстого, усиленный двумя гусарскими полками, драгунами и конной артиллерией, принял бой с корпусом Мюрата. Бой под Островной задержал продвижение Мюрата, что обеспечило возможность сосредоточения к Витебску всех русских войск. Остерман-Толстой участвовал позднее в Бородинском сражении и в заграничном походе 1813—1814 годов.

Стр. 88. *...к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон...* — Случай этот описан в «Записках о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения», СПб., 1836, с. 33—34; книга сохранилась в Яснополянской библиотеке. Каламбур о шпионе-шампиньоне выдумал, вероятно, сам Ростопчин.

Стр. 95. *...государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона.* — Когда в журнале «Русский архив», № 3 за 1868 год, появилась статья Толстого «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», в которой он заявил, что везде, где у него действуют и говорят исторические лица, он не выдумывал, а пользовался известными материалами, поэт П. А. Вяземский

выступил со статьей «Воспоминания о 1812 годе» («Русский архив», № 1 за 1869 г.), в которой опровергал достоверность эпизода с бисквитами. Толстой тотчас написал издателю журнала П. И. Бартеневу письмо, прося напечатать заявление о том, что он заимствовал рассказ о бисквитах из книги «Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения». В книге Глинки рассказано о событиях 12—13 июля, в том числе о царском обеде на Красном крыльце, но раздача бисквитов не упоминается. Эпизод, близкий к описанному Толстым, содержится в книге А. Рязанцева «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве, в 1812 году», М., 1862, где на стр. 26—27 рассказывается, что в день своего прибытия в Москву Александр I, во время обеда в Кремлевском дворце, заметив собравшуюся толпу, стал раздавать фрукты.

Стр. 96. *...у Слободского дворца...* — Слободской дворец находился в Лефортовской слободе. Здание дворца сохранилось до нашего времени: теперь в нем находится госпиталь. Вся сцена собрания дворян и купцов написана Толстым по материалам «Записок» С. Глинки (с. 15—21), который сам был тогда в Слободском дворце.

Стр. 100. *...Издатель «Русского вестника» Глинка...* — С. Н. Глинка (1776—1847) с 1808 года издавал журнал «Русский вестник», выступавший против французского влияния в России. В 1812 году журнал пользовался большим успехом.

Стр. 103. *...граф Мамонов...* — М. А. Дмитриев-Мамонов (1790—1863), масон, в 1812 году на свой счет сформировал конный полк, участвовавший в сражениях под Тарутиным и Малоярославцем.

Стр. 107. *...Барклай де Толли, непопулярный немец...* — Барклай де Толли по происхождению — шотландец. Главнокомандующим русской армией он был в 1809-м и затем недолгое время в 1812 году, до назначения Кутузова. Он действительно был непопулярен у русских военных (и офицеров и солдат, которые всех иностранцев в армии именовали «немцами»), потому что проводил стратегию отступления.

Стр. 108. *...министром...* — В 1810—1812 годах Барклай де Толли был военным министром России.

Стр. 117. *...у дворника Ферапонтова...* — Дворник — здесь: содержатель постоялого двора.

Стр. 119. *Господину барону Ашу...* — Казимир Иванович Аш был смоленским губернатором в 1807—1822 годах.

Стр. 120. *Предписание Барклая де Толли... барону Ашу, 1812 года.* — Отрывок из этого «предписания» от 19 июля 1812 года, дословно приведенный Толстым, цитирует М. И. Богданович в «Истории Отечественной войны 1812 года», т. I, СПб., 1859, с. 530 (Богданович ошибочно датирует «предписание» 20-м августа).

Стр. 130. *...Багратион писал.... следующее...* — Письмо Багратиона

напечатано в приложении ко второму тому «Истории Отечественной войны 1812 года» Богдановича. СПб., 1859, с. 503—505.

Стр. 133. *...Один из гостей, известный под именем человека с большими достоинствами...* — По всей видимости, «человек с большими достоинствами» — это известный дипломат того времени Жозеф де Местр (1758—1821), который с 1802 по 1817 год состоял в Петербурге посланником Сардинского короля (лишенного владений). В черновиках «Войны и мира» де Местр дважды упоминается как участник салона А. П. Шерер в 1812 году: «у Анны Павловны J. Maistre. Все держится печаль о легитимизме» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13, с. 687); «Был, хотя и небольшой, но ясно определенный кружок недовольных союзом с Наполеоном, кружок легитимистов, Joseph Maistr'а и Марьи Федоровны (к кружку этому, само собой, принадлежала Анна Павловна)» (там же, с. 710). Сочинениями и письмами Жозефа де Местра Толстой пользовался при работе над романом. Как установил Б. Эйхенбаум, салонные разговоры о назначении Кутузова главнокомандующим взяты Толстым из письма Жозефа де Местра от 2/14 сентября 1812 года.

Стр. 135. *Кутузов — фельдмаршал.* — 8 августа 1812 года Кутузов был назначен главнокомандующим русской армией; фельдмаршалом он стал после Бородинского сражения (рескрипт Александра I от 31 августа).

...Жоконду... — Ж. Лафонтена. Стихотворная сказка легкого содержания.

Стр. 138. *«Казак, не зная того общества, в котором он находился... — говорит Тьер...* — Сцену с Лаврушкой Толстой создавал, иронически переосмысливая соответствующие страницы в «Истории консульства и империи» А. Тьера (т. XIV, с. 288—290). Впоследствии выяснилось, что Тьер выдумал весь этот эпизод с «остолбенением» казака. Случай с поимкой двух русских солдат был взят Тьером из записок французского посла в Петербурге Коленкура. Они были напечатаны лишь в 1933 году, но Тьер имел возможность познакомиться с рукописью. «Коленкур рассказывает, что были взяты в плен двое: повар Платова, негр, и казак, отбившийся от русского арьергарда. Наполеон сначала через переводчика расспрашивал негра, и когда тому сказали, что с ним разговаривает император, негр «поклонился, несколько раз распростерся на земле, начал танцевать, скакать, петь и всячески кривляться». О впечатлении, которое произвел Наполеон на казака, Коленкур не упоминает» (Н. Н. Гусев. Историческая правда «Войны и мира». — «Литературная газета», 1938, 10 сентября).

Стр. 149. *...Петре Феодоровиче...* — Петр III (1728—1762) занимал русский престол всего два года; в связи с его коротким цар-

ствованием, свержением с престола (Екатериной II) и скоропостижной смертью в народе ходило много легенд. За Петра Федоровича выдавал себя Пугачев.

Стр. 159. *...месячину...* — Месячина — продовольствие и одежда, помесячно выдававшиеся помещиками крепостным крестьянам (преимущественно дворовым), которые не имели земельных наделов.

Стр. 178. *Это были «Рыцари Лебедя», сочинение мадам де Жанлис.* — Нравоучительный роман французской писательницы Жанлис (М.-Ф. Дюкре де Сент-Обен, 1746—1830), вышедший в 1795 году.

Стр. 179. *Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости.* — Осада и штурм Рущука в июле 1810 года, проводившиеся русской армией под командованием графа Н. М. Каменского (в распоряжении которого было 20 тысяч войска), окончились неудачей.

Стр. 181. *Растопчинские афишки...* — Афишки московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина печатались в «Московских ведомостях» или выходили отдельными листками и рассылались по домам. Их целью было информировать о положении дел, возбуждая в населении патриотическое чувство. Ни то, ни другое не могло быть достигнуто: информация была насквозь лживой, а патриотические фразы — хлесткими, но по большей части пошлыми. Герой этих афишек (в частности, афиши от 1 июля 1812 г., цитируемой Толстым) — «московский мещанин, бывший в ратниках», Карнюшка Чихирин.

...буриме Василия Львовича Пушкина. — Дядя А. С. Пушкина, поэт В. Л. Пушкин (1770—1830) пользовался большой популярностью как автор посланий, эпиграмм, мадригалов и буриме (стихов на заданные рифмы).

...лодкой Харона. — По древнегреческому мифу, Харон перевозил тени умерших через Стикс, реку подземного царства. Рассказ о высылке из Москвы иностранцев и каламбуре Ростопчина приводится в «Записках» С. Глинки (с. 42).

Стр. 182. *...князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски.* — В черновиках этой главы фигурирует А. Б. Голицын, который произносит на ломаном русском языке патриотическую фразу: «Это подобной древней Риму геройства» (т. 14, с. 93). С. Глинка в своих «Записках» рассказывает, что старый князь Б. В. Голицын начал занятия русской литературой и историей и завел у себя «русские вечера» с чтением (с. 321—323). В 1812 году Голицын, находившийся в отставке, вновь вступил в армию, участвовал в Бородинском сражении; умер в 1813 году от контузии.

Стр. 185. *...граф Витгенштейн победил французов...* — 25-тысячный корпус под командованием генерала П. Х. Витгенштейна защищал пути на Петербург. Против него действовал второй корпус

маршала Удино. В сражении под Клястицами 30 июля 1812 года русской армии удалось оттеснить Удино, который собирался обойти Витгенштейна с севера, на его прежнюю позицию — в Полоцк. Авангардом русской армии командовал генерал Я. П. Кульнев, убитый на другой день, когда он с 12-тысячным отрядом, выделенным Витгенштейном, начал преследование французов.

Стр. 187. *...воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага...* — Франц Леппих (известный также под именем Смита), крестьянин, голландский уроженец, прибыл в 1812 году из Германии в Москву и уверил, что может построить воздушный шар, на котором поднимется над французской армией и таким образом погубит Наполеона. (В 1811 г. Леппих уже предлагал свой шар в Париже Наполеону, но тот приказал выслать «изобретателя» из пределов французской империи.) Шар строился долго. Леппих изо дня в день выпрашивал у Ростопчина деньги (очень большие и, конечно, казенные). Накануне занятия Москвы французами выехал в Нижний Новгород, а затем в Ораниенбаум. Когда наконец в ноябре шар был готов, он не полетел, потому что оболочка пропускала газ. Сам Леппих в начале 1813 года уехал за границу.

Стр. 189. *...не было пущено ни одного выстрела...* — 25 августа велись боевые действия частного характера на флангах.

Стр. 190. *...неоднократные заявления о желании вести переговоры.* — Известны два таких заявления: одно было высказано Наполеоном пленному генералу П. А. Тучкову сразу же после Смоленского сражения; второе передано приехавшему для выяснения участи Тучкова М. Ф. Орлову (будущему декабристу). Автобиографическая записка П. А. Тучкова была издана в 1912 году (шестой выпуск серии «Герои Отечественной войны. Библиотека 12-го года»), но была известна историку Отечественной войны А. И. Михайловскому-Данилевскому, книгой которого пользовался Толстой. Разговор Наполеона с генералом Тучковым — на с. 10—19 указ. изд.

Стр. 193. *...план предполагаемого сражения... будет следующий...* — Действительное расположение русских и французских войск накануне и во время Бородинского боя Толстой выяснил в результате сопоставления исторических источников и, главное, на основании своих наблюдений, сделанных во время поездки на место Бородинского сражения в сентябре 1867 года. Он дважды объехал все поле, сделал заметки в записной книжке и нарисовал план сражения, включенный затем в «Войну и мир».

Стр. 194. *Действия Понятовского...* — Генерал Юзеф Понятовский (1763—1813), племянник короля Станислава-Августа, командовал в 1812 году польским корпусом, сражавшимся на стороне французов.

Стр. 205. *...Андрея Сергеича Кайсарова...* — Брат дежурного генерала, писатель, профессор русского языка в Дерптском университете. В 1812 году вступил в армию, убит в 1813 году под Ганау.

...стихи-то Марина... на Геракова... — Флигель-адъютант Александра I С. Н. Марин был известен своими стихотворениями, шутками и пародиями. Его стихи «на Геракова», преподавателя истории в петербургском кадетском корпусе и бездарного сочинителя ура-патриотических произведений, облечены в форму предсказания:

Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиран,
Будешь в корпусе учитель,
Будешь вечный капитан.

Стр. 214. *...с Клаузевицем...* — Прусский генерал и военный теоретик Карл Клаузевиц (1780—1831) с 1812 года служил в русской армии (впоследствии написал книгу «1812 год»).

Стр. 219. *...дравшихся при Саламанке...* — 22 июля 1812 года близ города Саламанка в Испании наполеоновский маршал Мармон проиграл сражение против англо-португало-испанских войск под начальством Веллингтона.

Стр. 223. *Диспозиция эта... была следующая...* — Текст диспозиции Наполеона приводится дословно по книге М. И. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года», т. II, СПб., 1859, с. 166—168.

Стр. 243. *...та атака, которую себе приписывал Ермолов...* — «Записки Ермолова в Отечественную войну 1812 г.» были напечатаны в книге (сохранилась в Яснополянской библиотеке): «Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложениями. Ч. I, 1801—1812». М., 1865. Рассказ об атаке — на с. 197—198.

Стр. 250. *Так было под Лоди, Маренго... Ваграмом...* — В сражении под Лоди (Северная Италия) 10 мая 1796 года Наполеон наголову разбил австрийский десятитысячный отряд. Во второй итальянский поход он разгромил тех же австрийцев в битве под Маренго 14 июня 1800 года. Победа под Ваграмом 5—6 июля 1809 года завершила последнюю войну Наполеона с Австрией (хотя, по свидетельству историка А. Витмера в его книге «1812 год в «Войне и мире», СПб., 1869, ни множества трофеев, ни корпусов пленных взято не было).

Стр. 252. *...к принцу Виртембергскому.* — Герцог А.-Ф. Вюртембергский (1771—1833), брат русской императрицы Марии Федоровны.

Стр. 253. *...о взятии в плен Мюрата...* — Известие оказалось ложным: взят был генерал Бонами, который, увидав штык русского гренадера у своей груди, закричал: «Я король!» — и был живым доставлен к Кутузову. И. Радожицкий, книгой которого («Поход-

ные записки артиллериста», ч. I, М., 1835) Толстой пользовался при работе над «Войной и миром», рассказывает, что ложный слух пустил картавящий майор Елецкого полка Т. Он скакал по линии войск и восторженно кричал: «Бьятцы! Мюята взяли!» (назв. книга, с. 144).

Стр. 265. *...на острове Св. Елены... он писал...* — Цитаты взяты из книги Лас-Каза «Дневник на острове св. Елены»: Las Cases. «Mémorial de Sainte-Hélène», v. 2, Paris, Garnier Trères, p. 144, 286.

Стр. 275. *Кутузов так и писал государю.* — В рапорте Александру I от 27 августа 1812 года Кутузов писал, что «неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами» (донесение напечатано в книге А. И. Михайловского-Данилевского, ч. II, СПб., 1839, с. 229—230).

Стр. 278. *...француз Кросар в испанском мундире...* — В годы Французской революции Кроссар эмигрировал в Австрию, где состоял на военной службе. Затем принимал участие в войне в Испании и в августе 1812 года приехал в Россию.

...осаду Сарагоссы. — Испанская крепость Сарагосса героически сопротивлялась наступавшим французским войскам. Безуспешная осада длилась в 1808 году более двух месяцев. Крепость была сдана 20 февраля 1809 года; французам пришлось брать город по частям, штурмуя каждый дом.

Стр. 279. *...князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции...* — См. примеч. к с. 37.

Стр. 285. *...запрещал Августину вывозить мощи и иконы...* — А. В. Виноградский (1766—1819), носивший сан епископа Дмитровского, был известным в то время духовным писателем и проповедником. В 1812 году фактически управлял (вместо 75-летнего митрополита Платона) московской епархией.

Стр. 286. *...г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения...* — Обер-Шальме — владелица магазина модного платья. Как писал впоследствии издатель «Русского архива» П. И. Бартенев, «эта обирательница русских барынь заведовала столом Наполеона и не нашла ничего лучше, как устроить кухню в Архангельском соборе. Она последовала за остатками великой армии и погибла с нею». Она была убита казаками, как тогда говорили (примеч. П. И. Бартенева к «Запискам современника» С. П. Жихарева, изд. «Русского архива», М., 1890).

...сбирал народ на Три Горы... — Ростопчинские афишки призывали народ отправиться 1 сентября на «истребление злодея» у Трехгорной заставы.

...Жоржем Данденом... — По имени главного действующего лица в комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж».

Стр. 288. *...к святым братьям Общества Иисусова...* — то есть к монахам католического ордена иезуитов (основан в 1534 г. для

распространения католицизма). В Петербурге в 1812 году была очень влиятельная католическая община.

...иезуит в коротком платье... аббат в длинном платье. — Так различались в католической церкви монахи, еще не принявшие и уже принявшие священнический сан.

Стр. 290. *...Колумбовым яйцом.* — По преданию, решая задачу о том, как можно поставить яйцо, Х. Колумб поставил его на стол, разбив кончик яйца.

Стр. 301. *...Верещагин... историю о прокламации?* — В афише 3 июля 1812 года Ростопчин объявил, что ходившая по Москве «дерзкая бумага», в которой говорилось, что Наполеон обещал через шесть дней быть в обеих русских столицах, пущена сыном московского купца Верещагина. М. Н. Верещагину в то время было 22 года. Он был обвинен в том, что перевел из «Гамбургской газеты» два сообщения о Наполеоне: «Письмо Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Верещагин действительно перевел два наполеоновских документа из французской газеты, издававшейся в Гамбурге. Газету он получил от А. Ф. Ключарева, сына директора Московского почтамта. Перевод Верещагин показал своему товарищу П. А. Мешкову (см. примеч. к с. 349), «дерзкая бумага» стала известна в публике. Вместе со своим товарищем Верещагин был арестован. Магистрат приговорил его к бессрочным работам в Нерчинске. Сенат 19 августа утвердил приговор, с добавлением, по предложению Ростопчина, двадцати пяти ударов плетью. 2(14) сентября Ростопчин, спасаясь от поджидавшей его взволнованной толпы, велел привести Верещагина из тюрьмы и предложил народу расправиться с ним. Народ молчал. Тогда Ростопчин приказал двум унтер-офицерам убить Верещагина. Те нанесли первые удары, остальное довершила взбудораженная и озверевшая толпа.

Стр. 303. *...есть масоны и масоны... хотят погубить Россию.* — Ростопчин преследовал масонов-мартинистов, считая их проводниками французского влияния на Россию, сторонниками «вольности» и революции.

...Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым... — О ссылке М. М. Сперанского см. примеч. к с. 375 пятого тома. М. Л. Магницкий (впоследствии реакционер, приспешник Аракчеева) был в 1810—1811 годах сотрудником Сперанского и сослан после его падения. Московский почт-директор Ф. П. Ключарев, масон, в прошлом близкий к Н. И. Новикову, был отставлен от должности, возбудив подозрения Ростопчина заступничеством за Верещагина.

Стр. 346. *...Растопчин в своих записках несколько раз писал...* — Первое историко-публицистическое сочинение Ф. Ростопчина на

эту тему было издано в 1823 году в Париже под названием «La vérité sur l'incendie de Moscou par le comte Rostopchine». В 1853 году в Петербурге вышли «Сочинения графа Федора Васильевича Ростопчина».

Стр. 349. *...есть политические: Мешков...* — П. А. Мешков был в 1812 году частным поверенным. У Верещагина он списал «прокламации» Наполеона (см. примеч. к с. 301). Суд приговорил Мешкова к лишению чинов, дворянства и к сдаче в солдаты. Прощен в 1816 году Александром I.

Стр. 365. *...покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809-м году...* — 12 октября 1809 года Наполеон производил перед своим Шенбруннским дворцом (в Вене) смотр гвардии. На эти смотры обычно приезжало и приходило много публики (Наполеон допускал публику на смотры). Смотр уже подходил к концу, когда хорошо одетый молодой человек с прошением в левой руке подошел к лошади, на которой сидел император. Его схватили раньше, чем он успел выхватить кинжал. Он оказался студентом Штапсом (род. в 1792 г.) из Наумбурга. 17 октября по приговору военной комиссии был казнен.

Стр. 373. *...большом сражении 7-го под Москвою.* — Бородинское сражение произошло 26 августа по старому стилю (7 сентября по новому стилю).

Стр. 374. *Париж — это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна...* — Главными достопримечательностями, по мнению капитана Рамбаля, являются, кроме бульваров, трагический актер Ф.-Ж. Тальма, драматическая актриса К.-Ж. Дюшенуа, комик Р.-Ж. Потье и высшее учебное заведение Франции (Сорбонна).

Стр. 404. *...по распоряжению Дюронеля...* — Генерала Дюронеля (1771—1849) Наполеон назначил в Москве комендантом крепости и города.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА И МИР

ТОМ ТРЕТИЙ

Толстой Л. Н.

Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 6. Война и мир. Т. 3. Примеч. Л. Д. Опульской. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1974.

424 с.

Третий том романа — это рассказ о войне 1812 года, с первых ее дней и до Бородинского сражения.

Толстой воссоздает грандиозные картины передвижений русской армии, Шевардинского и Бородинского сражений, рассуждает о роли великих деятелей в исторических процессах.

На фоне событий, участниками которых являются Кутузов, Наполеон и многие другие исторические деятели, развертываются судьбы «любимых» героев Толстого, так или иначе втянутых в эти события.

Центральные эпизоды тома — болезнь Наташи после разрыва с Болконским; смерть старого князя Болконского; усмирение Николаем Ростовым бунта богучаровских крестьян и встреча его с Марьей Болконской; поездка Пьера в армию; ранение Андрея Болконского.

Т $\frac{0731-194}{028(01)-74}$ **Подп. изд.** **Р 1**

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений,
том 6

Редактор
Г. Колосова

Художественный редактор
С. Данилов

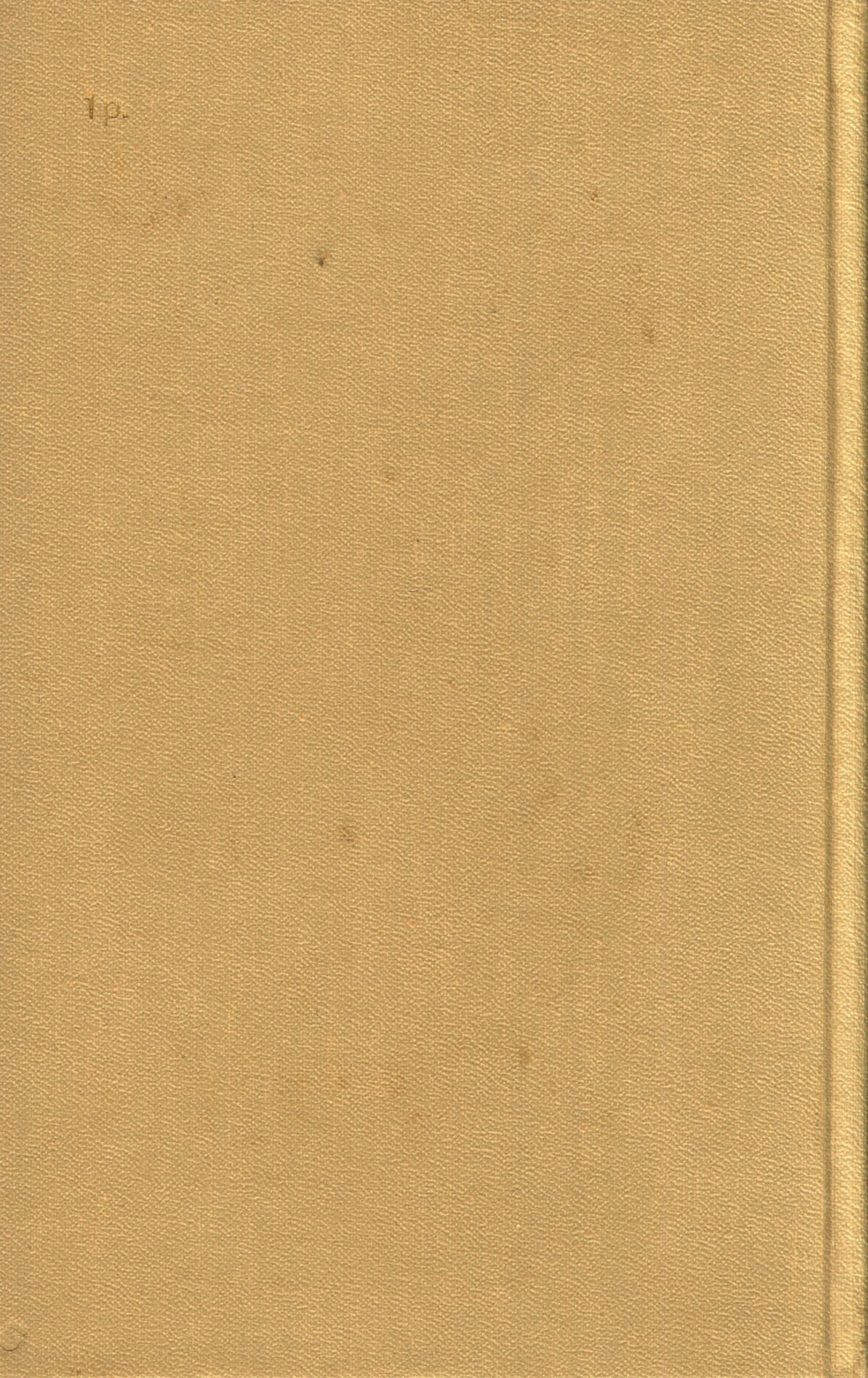
Технический редактор
О. Ярославцева

Корректор
А. Юрьева

Сдано в набор 28/VI 1973 г.
Подписано к печати 6/XI 1973 г.
Бумага тип. № 1. Формат 84×108 1/32.
13,25 печ. л. 22,26 усл. печ. л.
23,62 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 экз. Заказ 923.
Цена 1 руб.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.


1р.


6
Л.Н.ТОЛСТОЙ